
1259627
С. Ф. ПЛАТОНОВ
ПЕТР ВЕЛИКИЙ

ара
Бли

Академик С. Ф. ПЛАТОНОВ

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД—1926

Обложка работы
М. А. Кирнарского

Ленинградский Гублит № 10203.—Тираж 3100 экз.—5 печ. лист.

Типография Первой Ленинградской Артели Печатников (Моховая, 40).

I. ПЕТР ВЕЛИКИЙ В НОВЕЙШЕЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ.

А. Толстой и Б. Пильняк.

Для того, чтобы писать эту книжку, я беру перо в те самые дни, когда исполняется двести лет с момента последней болезни и смерти Петра Великого. За это долгое время в различных поколениях русских людей не один раз менялось представление о личности Петра и слагались весьма разнообразные оценки его деятельности. Удивительно, однако, что в наши годы, когда историческая наука достигла уже некоторых точных и бесспорных выводов в изучении так называемой «эпохи Петровских преобразований», в русской беллетристике, с полною свободою от науки, прежний «образ великого преобразователя» обратили в грубую пасквильную карикатуру, и таким образом длительная добросовестная работа многих ученых исследователей оказалась оставленной в полном пренебрежении.

Читатель, ищущий последних «достижений» нашего беллетристического творчества, может—в отношении Петра Великого — видеть эти достижения в творениях Алексея Толстого («День Петра») и Б. Пильняка («Его Величество Kneeb Piter Komondor»). И там, и здесь, «его величество» является грязным и больным пьяницей, лишенным здравого смысла и чуждым всяких приличий. У Алексея Тол-

стого Петр характеризуется в таких фразах (берем их в последовательности автора): «храп густой, трудный, с присвистами и клокотаньем»... «кашель табачный, перепойный»... «обрюзгшее, большое лицо в колпаке, пряди темных, сальных волос»... «круглые, черные глаза, горевшие безумием»... «медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть огурец; это был его завтрак». Таков царь у Толстого утром. Днем он не лучше: «Петр повернулся и зашагал косолапою, но стремительной поступью»... «грызя ногти, Петр исподлобья посматривал... вынул часы, отколупнул черным ногтем крышку»... «приложил пальцы к ноздрям, шумно высморкался, вытер нос полою мокрого полушубка»... «сев перед камином, протянул к огню красные в жилах руки и огромные подошвы сапог»... «ухмыляясь, он вынул короткую изгрызанную трубочку, пальцами схватил уголек из очага, покидал его на ладони и сунул в трубку». Вечером на ассамблее Петр «прямо прошел к столам, сел с краю и на парчевую скатерть положил стиснутые грязные кулаки»... «загребал пальцами с блюда то, что ему подкладывали, громко жевал, суя в рот большие куски хлеба, и в промежутки глотал водку, с трудом насыщаясь и с бо́льшим еще трудом хмелея. Есть он мог много — всегда, было бы что́ под рукой»... «Он не докончил, как часто бывало, свою мысль и забрызгал слюной, сдерживая гримасу»... Эта сочно нарисованная фигура, конечно, не возвышалась ни до политического разума, ни до моральной порядочности: «Что была Россия ему, царю, хозяину... О добре ли думал хозяин, когда с перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал из Голландии в Москву»... Здесь, конечно, разумеется приезд Петра из Вены в Москву в 1698 году, после того как «гнев и нетерпение», возбужденные в Петре вестью о стрелецком бунте, улеглись на дороге, в веселых пирах у

польского короля и магнатов, среди разнообразных впечатлений шестинедельного путешествия от Вены до Москвы. Гнев и нетерпение, по А. Толстому, сказались у Петра личным участием в казнях стрельцов. Известно, что Петр в Преображенском сам «вершил» мятежников. У А. Толстого Петр выступает в этой роли в Москве: «... слез с коня у Лубянских ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрелецкого сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвенев, до половины ушел в дерево; выругался царь матерно, вскочил на коня, поскал в Кремль...»

Таков царь Петр у А. Толстого. Грязный, пьяный и грубый, он дерется кулаком в зубы, предается зверской жестокости в застенке у пыток и скотской похоти на ассамблее. В этом все содержание «Дня Петра».

Еще дальше в развенчании царя Петра Великого идет Бор. Пильняк. [1] Он дает цельную его характеристику, такую, которая, с известной точки зрения, заслуживает места в историографии Петра наравне с местом Герострата в античной истории. Хотя эта характеристика и пространна, я не могу отказать себе в удовольствии представить ее читателю целиком. Вот каков Петр по Б. Пильняку: «Человек, радость души которого была в действиях. Человек со способностями гениальными. Человек ненормальный, всегда пьяный, сифилит, неврастеник, страдавший психостеническими припадками тоски и буйства, сво-

---

[1] Произведение Б. Пильняка озаглавлено «Его величество Kneeb Piter Komondor». Хотелось бы знать, откуда явилось это словечко «Kneeb». Петр так себя не называл; в голландском словаре этого слова нет. Иногда Петр подписывался «Knech» (вместо «Knecht» или «Knegt»). «Kneeb», очевидно, извращение. Всего, конечно, естественнее винить в нем типографского наборщика, ибо не автор же мог допустить такую вольность — в заглавии труда.

ими руками задушивший сына. Монарх, никогда, ни в чем не умевший сокращать себя — не понимавший, что должно владеть собой, деспот. Человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, до конца жизни не понявший ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. [1] Маньяк. Трус. Испуганный детством, возненавидел старину, принял слепо новое, жил с иностранцами, съехавшимися на легкую поживу, обрел воспитание казарменное, обычаи голландского матроса почитая идеалом. Человек, до конца дней оставшийся ребенком, больше всего возлюбивший игру, и игравший всю жизнь: в войну, в корабли, в парады, в соборы, иллюминации, в Европу. Циник, презиравший человека и в себе и в других. Актер, гениальный актер. Император, больше всего любивший дебош, женившийся на проститутке, наложнице Меншикова, — человек с идеалами казарм. Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом. С годами на круглом, красном, бабьем лице обвисли щеки, одрябли красные губы, свисли красные — в сифилисе — веки, не закрывались плотно; и из-за них глядели безумные, пьяные, дикие детские глаза, такие же, какими глядит ребенок на кошку, вкалывая в нее иглу или прикладывая раскаленное железо к пятачку спящей свиньи: не может быть иначе — Петр не понимал, когда душил своего сына. Тридцать лет воевал — играл в безумную войну — только потому, что подросли потешные и флоту было тесно на Москве-реке и на Преображенском пруде. Никогда не ходил — всегда бегал, размахивая руками, косолапя тонкие свои ноги, подражая в походке голландским матросам. Одевался грязно, безвкусно, не любил менять белья. Любил

[1] Фраза — целиком «из Ключевского».

много есть и ел руками—огромные руки были сальны и мозолисты...»

Эта общая, столь определенная и потому ответственная характеристика царя у Б. Пильняка сопровождена у него дополнительными черточками. Отсутствие «исторической логики» в «безумной войне» Петра поясняется тирадой: «...Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил—на болоте Невской дельты, на о. Енисари, Петропавловскую фортецию, совершенно не думая о парадизе...» Цинизм Петра раскрывается в беседе, которую будто бы вел Петр в Летнем саду с Петром Толстым: «...Петька! Ваше превосходительство! Раритет! Известно всем есть, што Ивашка Мусин-Пушкин батюшки моего государя сын. Моего отца признать не мочен, — бают, Тихон Стрешнев али дохтур. Понеже есть ты, ваше превосходительство, начальник Тайной канцелярии, дознать сие неотложно, обополы, без всякого предика!—Слушаюсь, батюшка.—Кобель! Не батюшка, а император. Понял?»... [1] Внешняя неприглядность Петра рисуется в таких деталях:

---

[1] Здесь автор без стеснений переделал рассказ кн. П. Долгорукова: «Un jour, à la cour, aprés un repas trés copieux, Pierre I-er dit, en montrant le comte Ivan Moussine-Pouchkine: «Celui-là sait au moins qu'il est le fils de mon père, mais moi, je ne sais pas seulement au juste de qui je suis le fils!» Et se levant de sa place, il se dirigea vers Stréchnew assis à table: «Tikhon Nikititch, dis moi la verité: es-tu mon père?» Stréchnew, tout ahuri, se taisait. Pierre, fortement pris de vin, le saisit au collet, et le secouant, cria: «Réponds-moi, ou je t'étrangle!»—«Sire, répliqua Stréchnew, je ne sais en vérité que vous dire: je n'étais pas le seul!» Alors Pierre se couvrit le visage avec les mains et sortit de la salle...» («Mémoires du prince Pierre Dolgoroukow». T. I, p. 102). Вероятнее, однако, что автор не видел текста Долгорукова, а удовольствовался пересказом Валишевского, с которым и обошелся вольно.

«...В комнате почти в уровень с головою растянута была парусина: государь болезненно не любил высоких комнат. На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом, водкой и сыростью... (царь) списывал из «Прикладов, како пишутся комплименты» поздравление в Москву, Ромодановскому, сидел сгорбившись, в колпаке, в нижней одной рубашке, пропотевшей под мышками и заплатанной»... В компании Петр в такой же мере не заботился о своей внешности, как и наедине: на столе, например, «лежала огромная мозолистая рука Петра с ногтями на манер копытец», которую все могли видеть в ее неприглядности. Не заботился будто бы Петр и о внутренней порядочности и самом малом приличии: на народе в Летнем саду он так обошелся с Румянцевой, что, при всем моем желании ничего не скрывать от читателя, я не решаюсь здесь цитировать Б. Пильняка. Не решаюсь я воспроизводить и тот язык, каким наш автор заставляет изъясняться своего Петра. По его мнению, в уста Петра он вложил подлинную смесь старой московской речи с европейскими неологизмами; но знатоки языка Петровской эпохи много посмеются над получившейся в результате комичной галиматьей.

Русские ученые много трудились над изучением самого Петра Великого и его времени, много спорили о том, что казалось спорным, искали новых материалов для освещения того, что представлялось неясным. Они, казалось, вправе были надеяться, что результаты их общей работы будут усвоены обществом, для которого они работали. И вдруг... А. Толстой и Б. Пильняк! В начале XIX века строгий немецкий ученый Август Людвиг Шлецер, отлично изучивший источники русской истории, напечатал свое исследование о Несторовой Летописи. В своем «Введении» к этому труду он давал обзор русской и европейской

литературы, посвященной русской истории, и констатировал, что к исходу XVIII века «вдруг и совсем нечаянно русская история, очевидно, начала терять ту истину, до которыя довели было ее Байер и его последователи, и до 1800 года падение это делалось час от часу приметнее. Падение? Раковый ход? Как это неестественно, неслыханно!» Приведя несколько образчиков неудачных ученых выступлений за последнее десятилетие XVIII века, Шлецер в раздражении написал о самом себе: «Тут экс-профессор русския истории потерял все терпение, с которым он лет десять смотрел издали на этот плачевный упадок и написал эту книгу» (то-есть «Нестора»). [1] Не равняя себя с знаменитым Шлецером, я однако вспомнил его строки, когда ознакомился с новоявленным Петром новых русских писателей, и почувствовал, как эти строки мне близки. Как Шлецер, я готов сказать: «Тут экс-профессор русской истории потерял все терпение, с которым он смотрел на этот плачевный упадок и — написал эту книгу».

Быть может, она отразит в себе более точно и справедливо те результаты, к каким пришла наука в своей работе над Петром Великим.

[1] Цитирую по переводу Д. Языкова: «Нестор. Русские Летописи». Часть I, Спб., 1809 г., стр. 175 «Введения».

II. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОЦЕНКИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В XVIII ВЕКЕ И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.

Современники Петра. Век Екатерины II. Карамзин. Славянофилы и Западники.

Люди всех поколений, до самого исхода XIX века, в оценках личности и деятельности Петра Великого сходились в одном: его считали **силой**. Одинаково ученики Петра («птенцы гнезда Петрова»), раскольники и изуверы его эпохи, последующие восхвалители Петра в XVIII столетии и первые его критики Екатерининской эпохи, Карамзин и Чаадаев, славянофилы и западники, Соловьев и Кавелин и прочие ученые их школы — все признавали, что Петр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего времени, вождем своего народа, «властителем дум» для одних и губителем душ для других. Никто не считал его ничтожным человеком, бессознательно и неумело употреблявшим свою власть или же слепо шедшим по случайному пути. Наиболее развязный из историков, писавших о Петре и склонных к его «обличению», именно Валишевский, в особенности хорошо отметил стихийную мощь личности Петра. Три века тому назад, по его словам, на поприще истории выступила в лице русского народа сила, не поддающаяся измерению (incommen-

surable), и «cette force s'est appelée un jour: Pierre le Grand».

Современники Петра, жившие в условиях, созданных его деятельностью, не могли спокойно относиться к необычайному представителю власти. «Какой он государь?» говорили дворяне: «нашу братию всех выволок на службу, а людей наших и крестьян побрал в даточные (рекруты), нигде от него не уйдешь!»... «Какой он царь?» вопили крестьянки: «он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век!»... «Какой он царь? враг, оморок [1] мирской», говорили в народе: «сколько ему по Москве ни скакать, быть ему без головы»... «Мироед! весь мир переел; на него, кутилку, переводу [2] нет, только переводит добрые головы!»... Тяжелая война, рекрутские наборы, непосильные платежи и повинности угнетали и раздражали народ. Народная масса не могла понять ни целесообразности Петровских войн, ни приемов его управления, необычных и суровых, ни личного поведения Петра, мало напоминавшего царя, или вельможу, или просто благовоспитанного, «истового» человека. Отсюда естественное заключение, что Петр не царь. Кто интересовался лично Петром, повторял басни о том, что он не царского рода, а «подмененный младенец—не русский, а из слободы Немецкой»; «и как царица Наталия Кирилловна стала отходить сего света, и в то число ему говорила: ты де не сын мой, замененный»... Но те, кто думал осмыслить шедшую от Петра «тяготу на мир» и все зло, причиняемое им народу, те дошли до мысли, что в лице Петра действовал антихрист—предусмотренная Промыслом страшная сила, с которой нельзя

---

[1] Оморок—тот, кто морочит, обманывает, сбивает с толку.

[2] Перевод—трата, конец.

было бороться. От нее можно было только терпеть муки для спасения души или же бежать в леса — «по лесам жить и гореть», то-есть в добровольном самосожжении обретать то же спасение души. Появление «антихриста» знаменовало собою, что «ныне житье к концу приходит», и нечего было думать бороться со сверхъестественным существом, воплотившимся в Петре для общей погибели. Карающая рука Петра лишала жизни за слова об антихристе, но не могла в народе искоренить мысли о нем. Не смогла этого сделать и поучительная книга Стефана Яворского «Знамения пришествия антихриста и кончины века». Молва о том, что Петр антихрист, пережила и Яворского и самого Петра и долго жила в глухих углах раскольничьего мира.

Иною силою представляли Петра те люди, которые с ним работали, знали его свойства, видели результаты его деятельности, могли сравнить положение созданной Петром «империи» с положением Московского государства до Петра. То, что они чувствовали, впервые выражено в официальной речи Петру канцлера графа Головкина 22 октября 1721 года: «Вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены и во общество политичных народов присовокуплены». Здесь искренне и правдиво была высказана мысль, что политические успехи Петра из старой Московии создали новое европейское государство и дали русскому народу новую политическую, экономическую и культурную обстановку. Иначе и столь же трезво высказывал ту же мысль И. И. Неплюев: «сей монарх отечество наше привел в сравнение (т.-е. в равенство) с прочими (державами); научил узнавать, что и мы люди; одним словом: на что [illegible]оссии ни взгляни,

все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут»... Это высокое представление о личных заслугах Петра грубыми умами, жившими во вкусах того века, было превращено в литературную гиперболу. Идея о Петре творце современной России превратилась в идею о Петре—божестве. Виновником этой метаморфозы никак нельзя считать Ломоносова, хотя его и цитируют иногда в таких случаях. Ломоносов осторожно играл уподоблениями Петра богу: «Ежели человека (говорил он) богу подобного, по нашему понятию, найти надобно,— кроме Петра Великого не обретаю!» Эта фраза в «Похвальном слове Петру» (1755 года) не есть обоготворение. То же и в оде 1743 года, в стихах:

Нептун познал его (Петра) державу,
С Минервой сильный Марс гласит:
«Он бог, он бог твой был, Россия,
Он члены взял в тебе плотские,
Сошед к тебе от горьних мест;
Он ныне в вечности сияет,
На внука [1] весело взирает,
Среди героев, выше звезд».

Надо соображать, что это — слова бога Марса, имеющего в виду Олимпийских «богов» и греческих «героев». Указывая в своих «Надписях к статуе Петра Великого» на то, будто русские люди

Не верили, что Петр един от смертных был,
Но в жизнь его уже за бога почитали,

Ломоносов оговаривается, что так бы поступать не должно, что так

...вера правая творить всегда претит.

[1] Внук—великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III.

Сам Ломоносов представлял себе Петра не в величии небожителя, а в работе—«в поте, в пыли, в дыму, в пламени». Его умиляло именно то, что царь «упражнялся в художествах и в трудах разных», «за отдохновение почитал себе трудов своих перемену; не токмо день или утро, но и солнце на восходе освещало его на многих местах за разными трудами»... Грубо боготворить Петра стали другие писатели, не Ломоносов. Когда Сумароков писал свои известные строки:

Российский Вифлеем—Коломенско село,
Которое Петра на свет произвело,—

он не мог не понимать, с кем он ровнял Петра, и тем не менее на это рискнул ради красоты стиха и рифмы. Когда Крекшин, подражая Головкину, слагал свою речь Петру, он не усомнился придать ей вид молитвы; он писал: «С воздыханием сердца возглаголем: Отче наш, Петр Великий! ты нас от небытия в бытие привел»... [1]

Итак, для ближайших своих ненавистников и поклонников Петр был как бы сверхъестественной силой. Никто из них не сомневался в его личных свойствах и в громадном его влиянии на ход народной жизни. В более спокойных и реальных формах то же признание личной мощи Петра сказывалось и у людей дальнейших поколений. В замечательном для своего времени рассуждении кн. Щербатова «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого» собраны были воедино все ходившие во второй половине XVIII века толки о Петре и дана его апология с долею весьма зрелой критики. Не скрывая слабостей своего «проя», Щербатов именно Петра считает

[1] Ограничимся этими двумя примерами; других подобных был не мало.

творцом современной ему России и свидетельствует, что это—общее мнение, что «слава есть Петра Великого, яко некоторая великая река, которая, что более удаляется от своего начала, то пространнее становится»; «без указу и без повеления имя Великого превозмогло; и дети наши в юности своей едва ли и знают, кто был Петр Первый, но имя Петра Великого купно с благодарностью и с удивлением в сердцах их напечатленно». Такому отношению к деятельности Петра не мешало и знакомство русских образованных людей с французскими писателями того времени, у которых Петр не находил признания, как мало культурный тиран, далекий от истинного просвещения и законности. Французские взгляды дурно подействовали, кажется, на одну только известную княгиню Дашкову, легкий ум которой приписывал Петру одно лишь невежественное легкомыслие и бессмысленное тиранство. «Дашковой (говорит профессор Шмурло) остался непонятен Петр с его воззрением на производительный труд, как на могущественный фактор в социальных отношениях людей». Непонятен оставался Петр и для тех утонченных придворных Екатерининского двора, которые склонны были видеть в Петре только пьяницу и драчуна и таким рисовали его цесаревичу Павлу, к великой досаде воспитателя Павла (Порошина). Серьезные же критики Петровской реформы, явившиеся во второй половине XVIII столетия, обсуждая вредные следствия торопливых Петровских заимствований, к самому Петру относились, однако, с неизменными похвалами и почтением, как к признанному всеми гению-благодетелю своей страны.

Во второй половине XVIII века нарождалась в России историческая наука, хотя и в формах мало совершенных. В круг ее изучения вошло и Петровское время. Но по отношению к нему дело ограничивалось публикацией

исторического материала и робкими попытками воспроизведения отдельных фактов царствования Петра. «Собрание» Туманского и «Вивлиофика» Новикова пустили в оборот не мало документов Петровского времени: Голиков напечатал их еще больше и присоединил к ним погодный обзор «деяний» Петра: князь Щербатов издал «Журнал или поденную записку имп. Петра В.» за время Шведской войны. За этими важнейшими изданиями следовал ряд более мелких. На основании всего опубликованного материала начали появляться разные «начертания» и «истории» жизни и дел Петра, ничем не замечательные, неизменно панегирические. Особое место среди них заняла действительно научная «История Петра Великого» академика Г. Ф. Миллера, которая однако не пошла далее юности Петра. К исходу века печатная литература о Петре получила не малый объем, и Карамзину была возможность высказать свое суждение о Петре без особых собственных изысканий, что он и сделал в своей «Записке о древней и новой России».

По Карамзину, историю России надлежит делить на древнюю, среднюю и новую. На рубеже первой и второй стоит Иван III, на рубеже второй и третьей—Петр Великий. Они оба гениальные деятели: Иван образовал великое государство, Петр его преобразовал. Однако, сравнивая этих лиц, Карамзин отдавал предпочтение Ивану III, ибо Иван был строго национален и действовал в «народном духе». Что же касается до Петра, то «страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия». «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств», и потому с презрением относился к питавшей этот дух народной старине, к «древним навыкам», к «народным особенностям». Изменять народные «нравы» можно лишь

постепенно; «в сем отношении государь, по справедливости, может действовать только примером, а не указом». А Петр грубо ломал народные обычаи: «пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного», и «бедным людям (страдавшим за старые обычаи от Петра) казалось, что он вместе с древними привычками отнимает у них самое отечество». Не трудно понять, откуда явился у Карамзина этот мотив осуждения Петра: он, конечно, порожден знакомством Карамзина с французской литературой, скорее всего с Монтескье, который как раз высказал подобный взгляд на тираническую насильственность мероприятий Петра Великого в такой сфере, где возможно было действовать только примером и поощрением. Несмотря однако на суровое осуждение приемов Петровской культурной реформы, Карамзин почитал Петра «великим мужем» и его труды «чудесною деятельностью». Он находил справедливым, что «потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам».

Как во многом другом, так и в отношении Петра с его реформою Карамзин блестяще суммировал в немногих словах все существенное содержание работ и взглядов своих предшественников. Петр — гениальный человек и великий преобразователь; его реформа положила резкую грань между старой и новой Россией; приемы, с которыми Петр проводил реформу, были насильственны и не во всем соответствовали «народному духу»; европеизация русской жизни иногда шла дальше, чем бы следовало. Таковы тезисы Карамзина. Хотя его известная «Записка о древней и новой России» не получила гласности, однако все последующие рассуждения философско-литературных кружков первой половины XIX века исходили именно из этих тезисов или

же к ним приходили. Это не значило, что люди читали и пересказывали «Записку» Карамзина: это значило только то, что в Карамзинских формулах получили свое окончательное и твердое выражение взгляды на Петра, выработанные мыслью нескольких поколений XVIII века. Устная и письменная традиция передала эти взгляды в XIX век: Карамзин дал им выражение наиболее полное и объективное; у других они получили характер более своеобразный и узкий.

Говоря так, я разумею кружки «славянофилов» и «западников» первой половины XIX века, в которых германская идеалистическая философия была приспособляема к разумению русской действительности и истории. Русскую жизнь осмысляли по системе Шеллинга или Гегеля, принимая за непреложную истину, что Петровская реформа составила собою коренной перелом в исторической жизни русского народа. Славянофилы считали этот перелом несчастным, извратившим естественное развитие народной жизни. Древняя Русь последовательно раскрывала в своих учреждениях и в своем быту исконные начала «народного духа»; оставаясь самобытною, она «желала просвещения», готова была «взять плоды его, откуда бы то ни было», но «хотела усвоить себе просвещение самостоятельно, свободно». Петр нарушил естественный ход вещей, захотев «все западное сразу пересадить на русскую почву», и потому вместо свободного и прочного восприятия получилось принудительное и внешнее, а потому и вредное подражание как в жизни культурной, так и в деятельности государственной. Так как стремление к просвещению на Руси существовало до Петра, то «выходит такое заключение, что все, что было истинного в делах и реформе Петра, —принадлежит не ему, а все остальное принадлежит ему» (К. С. Аксаков). Под «остальным» надлежало, конечно, разуметь все темные стороны управления Петра, все отрицательные стороны

русской государственности и общественности после-Петровской эпохи. Петр таким образом являлся злым гением в жизни своего народа, его насильником, принесшим ему неисчислимый вековой вред. Но расценивая так результаты деятельности Петра, славянофилы преклонялись перед личною мощью преобразователя. «Один из могущественнейших умов и едва не сильнейшая воля, какие представляет нам летопись народов, был Петр», говорил Хомяков: «много ошибок помрачают славу преобразователя России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы».

Иначе понимали дело идейные антагонисты славянофилов, современные им «западники». Для них также реформа Петра была гранью между старой и новой Русью. Но смысл деятельности Петра ими определялся совсем иначе. Славянофилы мыслили историю человечества, как цепь сменявших одна другую национальных цивилизаций, и стремились определить самобытное содержание и «дух» цивилизации русской, которую будто бы извратил своей реформой Петр. Западники верили в единство мировой цивилизации, на вершинах которой ставили культуру современной им Германии («Иерусалима новейшего человечества», как выражался Белинский). Для западников древняя Русь, не знавшая этой германской (или вообще западной) культуры, была страною неисторической, лишенной прогресса, осужденной на вечный застой. Эту «азиатскую» страну из вековой косности вывел Петр. Силою своего гения он сразу приобщил ее к последним достижениям общечеловеческой цивилизации и создал ей возможность дальнейшего прогресса. Роль Петра в русской истории поэтому громадна и благодетельна. По словам Белинского, «Петр Великий есть величайшее явление не нашей только истории, но истории всего человечества; он

божество, воззвавшее нас к жизни, вдунувшее душу живую в колоссальное, но поверженное в смертную дремоту тело древней России»... «Петру Великому мало конной статуи на Исаакиевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всех площадях и улицах великого царства Русского»... «Нужна была полная коренная реформа — от оконечностей тела до последнего убежища человеческой мысли; а для произведения такой реформы нужен был исполинский гений, каким явился Петр». Языком своего времени Белинский, как видим, обоготворял Петра не хуже его поклонников XVIII века.

III. НАУЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ПОЗДНЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.

Соловьев и Кавелин. Ключевский. Взгляд Милюкова и его опровержение. Историки-беллетристы. Военные историки.

Таков был запас суждений русской интеллигенции о Петре Великом, когда за оценку эпохи преобразований взялась строгая историческая наука в лице молодых профессоров Московского университета С. М. Соловьева и К. Д. Кавелина. Воспитанные на методах германской исторической школы, усвоившие себе взгляд этой школы на исторический процесс, как на органическое, закономерное развитие народной жизни, названные ученые понимали эпоху преобразований Петра, как один из необходимых исторически моментов русской жизни. С их точки зрения Петр с его реформой был «сыном своего народа», выразителем народных стремлений. Он был создан всем ходом предшествующей истории: «Втечение XVIII века», говорил Соловьев (еще в 1851 году), «явно обозначились новые потребности государства и призваны были те же средства для их удовлетворения, которые были употреблены в XVIII веке, в так называемую эпоху преобразований». Таким образом Петр не только получил от старого порядка сознание необходимости реформ, но действовал ранее на-

меченными путями и имел предшественников: он решал старую, не им поставленную задачу, и решал не новым способом. Его нельзя противополагать древней Руси, как внезапного ее реформатора. «До сих пор (писал Кавелин в 1866 г.) мы не умели связать между собою двух периодов, разделенных Петром Великим, и не могли объяснить себе, каким образом родилась и выросла на древней русской почве личность, подобная Петру». Между тем, «как бы ни была велика и могуча личность Петра, как бы отрицательно ни относилось его преобразование ко всему старому,—все же он родился в том обществе, которое преобразовал, был дитя своего времени и обстоятельств, и в этом смысле как он, так и его дело должны же были находиться в органической связи с той средой, из которой возникли и к которой относились». На выяснение этой именно связи и обратились усилия наших ученых школы Соловьева и Кавелина. В результате их исследований, осветивших внутреннюю историю московского общества в XVIII веке. Петр в своем личном характере и в своей деятельности также получил новое освещение, стал на реальную почву, сделался понятнее в связи с обстановкой его детства и воспитания. «Освобожденный от риторических прикрас и фимиама похвальных речей и лести, Петр (продолжает Кавелин) является пред нами живым человеком, с ошибками и удивительными делами, с недостатками и чертами гения, с пороками и великими добродетелями... Голая историческая истина о нем поражает гораздо сильнее, чем вымысел, именно потому, что походит больше на сказку, чем на правду,—так она необыкновенна!.. Петр Великий есть полнейший представитель своей эпохи и ее преобразовательных стремлений. Формы, в которых они осуществились, п[illegible]лежит безраздельно времени, в которое он жил; Пе[illegible]инадлежит необычайная

сила, энергия, с которою велось дело, страстность,—если можно так выразиться, темперамент реформы»...

Мысль о том, что Петр есть дитя своего века, преемник людей XVII века в их лучших стремлениях к обновлению русской жизни, — с настойчивостью проводилась представителями нашей исторической школы. Они много сделали для изучения внутренней жизни московского общества в до-Петровское время. Можно сказать, что эта тема была даже господствовавшим предметом исторических исследований во всю вторую половину XIX столетия. Ряд архивных изысканий позволил построить историю XVII века заново и на деле обнаружить все подробности перехода старых политических и социальных форм в новый Петровский строй. И однако же «необычайная сила» личности Петра оставалась вне сомнений; радикальный характер его реформы также. Соловьев, выводя необходимость реформы из экономической неудовлетворенности и культурных запросов русских людей XVII века, старался показать, что Петр с необыкновенной чуткостью удовлетворял потребности своей страны и тем не менее всколыхнул ее до дна, заставил ее пережить всесторонний переворот. Такой взгляд, совмещавший представление о традиционности стремлений Петра с представлением о глубине и всеобщности совершенного им переворота, вызвал однако некоторое сомнение в последующем поколении ученых, в учениках самого Соловьева. Они стали думать, что при Петре Россия пережила «потрясение», которое, однако, не было «переворотом» по своему существу.

Выразителем такого взгляда, наиболее ярким и талантливым, явился В. О. Ключевский. В первой половине IV-й части его «Курса русской истории» всесторонне рассмотрена эпоха Петра Великого и дана характеристика «наружности, привычек, образа жизни и мыслей» самого

Петра. Не все, быть может, частности выдержат критику в обзоре царствования Петра, особенно в изложении Петровских войн, какое находим у Ключевского.[1] Но страницы, посвященные личности царя, поражают мастерством ее воспроизведения; общая же оценка «значения реформы» отличается тонкостью и оригинальностью анализа. В своем конечном выводе о «деле Петра» наш автор говорит: «Реформа сама собою вышла из насущных нужд государства и народа, инстинктивно почувствованных властным человеком с чутким умом и сильным характером, талантами, дружно совместившимися в одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие по неизведанным еще причинам от времени до времени появляются в человечестве. С этими свойствами, согретыми чувством долга и решимостью «живота своего не жалеть для отечества», Петр стал во главе народа, изо всех европейских народов наименее удачно поставленного исторически. Этот народ... в XVIII веке стал чувствовать недостаток материальных и духовных средств... Реформа, совершенная Петром Великим, не имела своей прямою целью перестраивать ни политического, ни общественного, ни нравственного порядка, а ограничивалась стремлением вооружить русское государство и народ готовыми западно-европейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить государство в уровень с завоеванным им положением в Европе, поднять труд народа до уровня проявленных им сил. Но все это приходилось делать среди упорной и опасной внешней войны, спешно и принудительно, и при

[1] Ниже будет указано, что в оценке военных дейс ш гражданский историк спускается до легкой насмешки на - гами начала XVIII века и в этом расходится со специ и и русскими, и шведскими.

этом бороться с народной апатией и косностью,.. с предрассудками и страхами, внушенными невежественным духовенством. Поэтому реформа, скромная и ограниченная по своему первоначальному замыслу, направленному к перестройке военных сил и к расширению финансовых средств государства, постепенно превратилась в упорную внутреннюю борьбу, взбаламутила всю застоявшуюся плесень русской жизни, взволновала все классы общества. Начатая и веденная верховною властью, привычною руководительницею народа, она усвоила характер и приемы насильственного переворота, своего рода революции. Она была революцией не по своим целям и результатам, а только по своим приемам и по впечатлению, какое произвела на умы и нервы современников. Это было скорее потрясение, чем переворот. Это потрясение было непредвиденным следствием реформы, но не было ее обдуманной целью».

Эта цитата, быть может, немного слишком пространная, необходима для того, чтобы сопоставить ее с оценкою самого Петра у Ключевского. Ключевский хорошо понимает, как трудна задача изучения Петра: «Противоречия, в какие он поставил свое дело, ошибки и колебания, подчас сменявшиеся малообдуманной решимостью, слабость гражданского чувства, бесчеловечные жестокости, от которых он не умел воздержаться, и рядом с этим беззаветная любовь к отечеству, непоколебимая преданность своему делу, широкий и светлый взгляд на свои задачи, смелые планы, задуманные с творческой чуткостью и проведенные с беспримерной энергией, наконец, успехи, достигнутые неимоверными жертвами народа и великими усилиями преобразователя,—столь разнородные черты трудно укладываются в цельный образ». Но, очевидно, что к воссозданию этого образа наш историк подойдет без предубеждения и антипатии, напротив (говоря его же словами),

«чутко угадывая глубокую нравственную основу энергии Петра». И действительно характеристика Петра, созданная Ключевским, хотя и богата тенями там, где она говорит о пороках и грубости царя, дает все-таки в общем величавый образ человека, постепенно образовавшего в себе высокие свойства гражданина и политика. Сначала «при гениальных способностях и обширных технических познаниях» в Петре «вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек». С течением времени жестокие уроки политики и жизни умудряли Петра, «и по мере этого начиналось и усиливалось его политическое самообразование: он стал понимать крупные пробелы своего воспитания и вдумываться в понятия, вовремя им не продуманные, о государстве, народе, о праве и долге, о государе и его обязанностях. Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, но не мог уже отрешиться от своих привычек,.. не сумел очистить свою кровь от единственного крепкого направителя московской политики—от инстинкта произвола. До конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни».[1] По своей манере давать плод своего синтеза в одной изобразительной фразе, Ключевский заключает свою речь о Петре словами: «Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства;[2] подобными хозяевами были

[1] Эту фразу (которую, вероятно, помнит читатель) Б. Пильняк дословно пересадил из «регулярного сада» Ключевского на свои «посадья».

[2] Этот термин «хозяин», без сомнения, отсюда попал на «Дикое поле» А. Толстого.

и его предшественники, цари старой и новой династии». Историку видится здесь «генетическая связь, историческая преемственность ролей и типов»...

Приведенные выписки сделаны с некоторою щедростью потому, что в лице Ключевского наша наука возвысилась впервые до вполне реального представления о Петре, о его личности, о его исторической роли, о преемственности его дела. Можно оспаривать частности в изображении Петра у Ключевского, но нельзя не признать, что в общем ему первому удалось воплотить Петра в жизненные формы, снять с него последний налет идеализации и, не скрыв его грубости и пороков, показать «глубокую нравственную основу» его гениальной энергии. Позднейшим исследователям оставалось пользоваться плодами исторической прозорливости и чуткости Ключевского и итти вслед ему. И действительно, в школе его учеников созрело не мало работ именно о времени Петра, и в них взгляды учителя были усвоены сполна и получили дальнейшее развитие на детальном изучении фактов эпохи. Но в недрах этой школы обнаружилась и новая тенденция—к тому, чтобы понизить оценку личной роли преобразователя в его преобразованиях. Один из старейших учеников Ключевского П. Н. Милюков в своем известном трактате «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого» (1892) воспринял мысль своего учителя (впрочем, мелькавшую и у Соловьева) о зависимости административных и финансовых преобразований Петра от Шведской войны и сопряженных с нею тягот. Мысль эта была раскрыта и доказана Милюковым на обширном архивном материале с талантом и надлежащей ученой осмотрительностью. Автор предупреждал читателя, что он не считал возможным «давать суммарную характеристику реформы» и «считать полученные им выводы

общей характеристикой». Однако в определении личной роли Петра в его правительстве он столь определенен и категоричен, что его отношение к Петру стоит «общей характеристики» личности царя и ее значения в реформе. Говоря о движении творческой мысли в русском правительстве в вопросах административной реформы за период после 1710 года, Милюков ставит вопрос о том, какую роль, при частных советчиках русских и иностранных, играл в этом коллективном обсуждении сам царь и его правительство? «Кажется, можно вывести (говорит он), что они не только не решали вопросов, но даже вряд-ли сами их ставили. Вопросы ставила жизнь; формулировали более или менее способные и знающие люди; царь схватывал иногда главную мысль формулировки, или—и, может быть, чаще - ухватывался за ее прикладной вывод; обсуждение необходимых при осуществлении подробностей поставленной, формулированной и одобренной идеи предоставлялся царем правительству вместе с подавшими мысль советчиками—и в результате получался указ». Картина правительственной работы с участием царя, «иногда» разумевшего «главную мысль», а чаще хватавшего только «прикладной вывод» работы,—очень красочна и вразумительна. От административных проектов автор готов распространить такую оценку и вообще на роль Петра в реформе. В конечном резюме своей книги он говорит, что до 1714 года все дело реформы ограничивалось тем, что «поневоле царю приходилось заботиться об увеличении

их доходов:... дальше этой невольной заботы и не шли

) реформационные стремления в сфере внутреннего го-

арственного устройства». Позже дело стало как будто

ше: «кругозор законодателя заметно расширился»: «но

ут неподготовленность, отсутствие общего взгляда, си-

ы—продолжали сказываться в бесчисленных противо-

речиях». Автор с полным сочувствием приводит «общий и огульный» отзыв императрицы Екатерины о Петре («он сам не знал, какие законы учредить для государства надобно») и, наконец, в конце концов кратко формулирует свое собственное суждение о «государственной реформе» Петра в таких словах: «Стихийно подготовленная, коллективно обсужденная, эта реформа... только из вторых рук случайными отрывками проникла в его (Петра) сознание»... Какое же суждение о Петре должен вынести читатель, изучивший книгу Милюкова? В менее ответственном, популярном своем труде «Очерки по истории русской культуры» автор избавляет читателя от необходимости догадываться об этом: он высказывает, не стесняясь, прямо пренебрежительное отношение ко всему, что делал Петр. Он определяет у царя «импульсивность воли и недисциплинированность мысли, как препятствия для обдуманного и сознательного отношения к собственной реформе». Ясен «результат: экспериментирование наудачу и отрывочность отдельных усилий». Петр «мог научить окружающих только тому, чему сам научился, а сам научился немногому; и только это немногое и можно было внушить подданным теми способами, какими внушал он»... «Не охватывая одним взглядом всей своей реформы, не представляя себе отчетливо тех процессов, которые вызваны были его же действиями, но не прямо, а косвенно, и фактически совершались, ускользая от его глаз и от его внимания,— Петр схематизировал реформу в своем сознании очень поверхностно и грубо». Автор видит эту схему только в том, что Петр «твердо знал во всю первую половину царствования только одно: что надо во что бы то ни стало победить неприятеля;... потом, кроме «рощения российской славы», его стало занимать также и «введение добрых порядков»;... сперва внешняя безопасность, потом внутрен-

ний порядок и правосудие». По мнению Милюкова, и эта грубая схема явилась не в виде идейного построения, а post factum, когда жизнь к ней привела. «За отсутствием идей, остается одно только чувство, постоянно возвышающее Петра над всеми мелочами и деталями, в которых он ежеминутно захлебывается. Это чувство своей ответственности, чувства долга, обязанности, извне наложенной». Оно принимает у Петра вид служебной обязанности: Петр «прежде всего служит». Однако у него и «во всем этом есть доля позы и доля буфонства»... Можно ли при таком взгляде говорить о возможности Петру «господствовать над реформой, руководить ее ходом вполне сознательно и целесообразно»? Конечно, нет. Петр ничего не умел делать сразу и хорошо: у него всегда «скудость результатов» соединялась с «грандиозностью затраченных средств», даже в создании армии и флота; «если же обратимся от войска к военному делу, то увидим, что тут до конца жизни Петр остался учеником самым непонятливым»... Подводя читателя к «общему выводу», Милюков говорит: «Личность Петра видна всюду в его реформе: на всякой частности лежит ее печать: и как раз эта-то черта и сообщает реформе в значительной степени стихийный характер». В Петре действует «какая-то неиссякаемая жизненная сила»: она напоминает автору «расточительность природы в ее слепом стихийном творчестве, а не политическое искусство государственного человека». Автор выражает уверенность, что его понимание реформы Петра, как результата «случайности, произвольности, индивидуальности, насильственности», вполне соответствует действительности: «именно в этом своем виде реформа перестает представляться чудом и спускается до уровня окружающей действительности». К окружающей Петра действительности русской у Милюкова не лучше отношение, чем к самому Петру:

«Страна получила (говорит он) такую реформу, на какую только и была способна».

Нельзя удивляться тому, что при чтении некоторых страниц «Очерков» Милюкова, один из критиков привел себе на память Щедринскую «Историю одного города». Он нашел, что изображение Петра у Милюкова «переходит нередко в исторический памфлет»,—и не мог не стать на защиту Петра. Небольшая, но веская статья этого критика была подписана псевдонимом «Лесовик» и принадлежала отличному знатоку Петровской эпохи, рано умершему Н. П. Павлову-Сильванскому,[1] тому самому исследователю, который издал «Проекты реформ в записках современников Петра Великого» (1897). Он решительно осудил литературный прием Милюкова, найдя его «узко-односторонним и мелочно-раздраженным». «Речь его (пишет он) нельзя назвать даже обвинительным актом, потому что хороший прокурор соблюдает хотя бы наружную беспристрастность, взвешивает pro и contra и скрывает свое раздражение. Это—не обвинительный акт, а желчный памфлет». Если бы этому памфлету критик ответил апологией, мы присутствовали бы только при обмене мнений. Но критик дает ценнейшую ученую справку. Как человек, заведовавший «кабинетом Петра Великого» в Государственном архиве и пересмотревший дела его царствования в Сенатском архиве, Павлов-Сильванский мог с полным основанием и весом написать эту справку. Вот она: «Из напечатанных во множестве собственноручных бумаг Петра хорошо видно, что он был не только мореплавателем и плотником, корабельным мастером и токарем, но и усидчивым кабинетным работником. Его многочисленные

[1] «Об историческом самоуничижении» в «С.-Петербургских Ведомостях» за 1901 год, 10 сентября, № 248.

письма,—большей частью собственноручные, первой половины царствования,—показывают, что он не только не теряется в деталях, но действительно руководит всем обширным делом снаряжения армии и обороны страны, что он постоянными, настойчивыми напоминаниями возбуждает энергию сенаторов и генералов. В законодательных делах второй половины царствования Петр с той же неистощимой энергией работал пером, с какою он работал на верфи топором. Над выработкой морского устава Петр трудился в течение 5 месяцев, по 4 дня в неделю, с 5 часов утра до полудня и с 4 часов дня до 11 вечера. Большая часть рукописи этого устава написана его рукою; остальная испещрена его поправками; чужая редакция редко удовлетворяла такого стилиста, каким был Петр. В Сенатском архиве хранятся черновики коллежских уставов с длинными собственноручными вставками и многочисленными поправками царя. Значительная часть указов Петра— и в том числе такие указы, как о майорате и о должности генерал-прокурора,—были выработаны самим Петром. Из поданного Петру указа о должности генерал-прокурора он взял только первую статью, остальные 11 статей написал сам: четыре раза проект указа переписывался канцеляристами Кабинета и каждый раз испещрялся все новыми и новыми поправками Петра. По этим поправкам можно проследить, как Петр вполне самостоятельно, далеко оставив первоначальный чужой проект, постепенно вырабатывал институт прокуратуры, составивший один из краеугольных камней учреждения Петровского сената».

Эти суждения Павлова-Сильванского, основанные на пристальном знакомстве с документами, в полной мере подтверждаются выводами и наблюдениями другого исследователя Н. А. Воскресенского, хорошо изучившего законодательный материал Петровской эпохи. Он говорит: «В ар-

хивах бб. Сенатском, Морском, Государственного совета находятся подлинные материалы, относящиеся к преобразованию высших центральных учреждений начала периода империи в России. Среди них имеют особый интерес целые томы, содержащие проекты регламентов государственных коллегий. В этих книгах, содержащих иногда более 1.000 страниц, можно найти и первоначальный проект ученого иностранца и все последовательные редакции, отражающие весьма ярко весь процесс и приемы правотворчества эпохи преобразований. В законодательной работе почти всегда принимал участие сам император. Его поправки, порою изменявшие в самых основаниях предложенный на его одобрение законопроект, могут служить одним из самых важных материалов к решению вопроса о роли Петра I в преобразованиях первой четверти XVIII в.». [1] Нет сомнений, что роль эта была сознательна и влиятельна, разумна и компетентна.

До сих пор пред читателем проходили отзывы о Петре, выросшие на почве публицистической, философской и научно-исследовательской. Современники и ближайшее потомство судили царя, как явление их современности, требующее их одобрения и признания или же осуждения и протеста. Первая половина XIX века сделала из Петра предмет метафизических построений. Позднейшая наука изучала деятельность Петра прагматически, заботясь главным образом о выяснении ее связи с общим ходом внутренней народной жизни. И со всех этих точек зрения Петр лично получал высокую оценку, как громадная движущая сила

[1] Из протокола заседания Отделения исторических наук и филологии Росс. Академии Наук 28 января 1925 г. (Докладная записка об издании «Памятников законодательства Петра Великого» Н. А. Воскресенского).

его эпохи. Отдельные голоса скептиков, вроде кн. Дашковой в XVIII веке и Милюкова в XIX, получали соответствующие коррективы и достаточно обезвреживались аргументами их критиков. Остается посмотреть на тех историков, которые мало заботились об общем ходе историографии и не связывали своих трудов с той или иной «школой», или же имели в виду свои особые специальные цели. Разумеем историков-рассказчиков, за образец которых возьмем писавших о Петре Великом Костомарова и Валишевского, и историков военных, меривших Петра своей профессиональною меркою.

Что касается до Костомарова, то свое «жизнеописание» Петра Великого он составил уже в ту позднюю пору своей жизни, когда остыл его «обличительный» жар и когда он сам сводил свою задачу, как историка, к одной лишь передаче найденных в источниках и проверенных фактов. В монографии Костомарова (1876) находим систематический, довольно бледный обзор всего царствования Петра и в его заключении некоторую характеристику Петра. По Костомарову, Петр — «человек с неудержимою и неутомимою волею, у которого всякая мысль тотчас обращалась в дело»; «царь был одарен богатыми способностями» и «отличался непостижимою для обыкновенных смертных переимчивостью». Он искренне хотел преобразовать Россию в «сильное европейское государство», ибо «как человек, одаренный умственным ясновидением, Петр сознал эту потребность своего отечества». Но ему удается поднять только внешнюю культуру страны и совсем не удается дать «духовное воспитание» обществу. Для этого не было силы и возможности у власти, обладавшей всею полнотою самодержавия, но действовавшей только жестоким насилием. «Сам Петр своею личностью мог быть образцом для управляемого и преобразуемого народа только по своему

безмерному неутомимому трудолюбию, но никак не по нравственным качествам своего характера». «Он не старался удержать своих страстей», «дозволял себе пьянство и лукавство», «был свиреп и кровожаден». С особенным ударением Костомаров говорит о цинической и вероломной жестокости Петра, достигавшей неимоверных размеров. И однако же, по мнению историка, «все темные стороны характера Петра, конечно, легко извиняются чертами века». А сверх того «Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце: эта черта—преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ, любил его не в смысле массы современных и подвластных ему русских людей, а в смысле того идеала, до какого желал довести этот народ; и вот эта-то любовь составляет в нем то высокое качество, которое побуждает нас, мимо нашей собственной воли, любить его личность, оставляя в стороне и его кровавые расправы и весь его деморализующий деспотизм»... Во всем строе этого отзыва звучат мотивы, близкие к современной Костомарову школе московских профессоров, пожалуй всего более ощутительные у Кавелина. Но Костомаров чужд той общей исторической схеме, какая была у московских ученых: его восприятие Петра чисто личное, непосредственное.

Менее доступен определению характер отношения к Петру Валишевского. Для этого автора Петр прежде всего прекрасный сюжет для рассказов, способных заинтересовать широкую публику. Эти рассказы автор собирает из очень большого круга пособий, так как обладает большою начитанностью и знает несколько языков. Метод его довольно прост—сопоставить несколько рассказов об одном и том же

событии, взять из них общее и согласное и отбросить взаимно противоречащие частности; так, по мнению Валишевского, определится историческая истина.[1] Отношение к материалу не всегда внимательное: автор может, например, рассказать (стр. 165) о том, что 21 февраля, на масленице 1699 года, в Немецкой слободе в Москве шла процессия, в которой бесстыдный псевдо-патриарх вел толпу безобразно обнаженных вакханок (une troupe de bacchantes débraillées); между тем источник Валишевского Корб говорит только о «толпе поклонников Вакха», конечно, одетых по сезону; у Корба «в полной наготе» представлен только Вакх, нарисованный на тиаре патриарха. Набор интересных частностей расположен у Валишевского в известной системе (l'éducation—l'homme—l'oeuvre) и дает по внешности полную биографию Петра на фоне его эпохи. И все-таки, прочтя книгу Валишевского и одолев оскомину от изобилия анекдотов и пряностей, не знаешь, как в основе автор относится к Петру. Его взгляд колеблется и расплывается в изобилии формул и приговоров, изрекаемых по разным частным поводам в жизни и деятельности Петра. Для примера можно привести страницы 157 и 159 книги: на первой у Петра оказывается «son génie incontestable»; на второй «il semble plus ingénieux encore que vraiment génial». Однако в ряду таких и подобных таким определений попадаются меткие и остроумные места. Одно из них приведено в начале нашей историографической справки: Валишевский отождествил Петра с безмерной, иррациональ-

[1] K. Waliszewski «Pierre le Grand», Paris, 1897, p. 13: «mon guide habituel: la concordance de données, même diversifiées dans le detail, mais fournissant des indications dans un sens costant et précis».

ною (incommensurable) силою его племени, вышедшего внезапно на арену истории; «c'est l'âme d'un grand peuple» восклицает он о Петре. В другом месте он воспользовался словами историка М. Ф. Поссельта о Петре: «In Thatendrange war sein wahres Genie» и отметил, что Петр был особенно восприимчив к «joie de l'action», к радостям труда, деятельности творчества. Бойко написанный, наполненный подробностями более интересными, чем скромными, нечуждый анекдотов, недоступных проверке, труд Валишевского может увлечь «любителей» истории. И есть основание догадываться, что именно Валишевский вдохновил новейших беллетристов (о которых шла речь выше) к воспроизведению Петра в образе грязного простолюдина. В неимоверно грубом виде выступает Петр в конце первой главы Валишевского: «C'est un rustre»... «Est-ce un sauvage cruel? on l'a dit»... «Qu'il fasse à l'occasion le métier du bourreau, pourquoi pas?»—такими фразами сыплет здесь автор, в других главах находящий однако другие краски и другой язык... На зыбкой почве станет тот, кто будет изучать Петра по Валишевскому!

Военные русские историки все без исключения приписывают Петру военный талант; они говорят даже о его гениальности в военном деле. Начиная с давней характеристики Петра у Г. А. Леера и до отзывов последних военных историков, писавших о Петре, Н. Л. Юнакова и Н. А. Епанчина, Петр Великий везде выступает с чертами «великого мастера военного искусства». «Как известно (пишет Епанчин), сочетание двух противоположных начал—решительности и осторожности—чрезвычайно трудно и редко встречается в практике военного дела; искусное применение этих начал служит несомненным доказательством даровитости данного лица». Именно таким сочетанием обладал Петр. На разборе кампании 1708—1709 гг.

против Карла военные критики, считающие Петра главным руководителем действий, показывают его выдающиеся свойства стратега. По словам Юнакова, «необыкновенное развитие творческой силы ума и, как прямое последствие этого, всесторонность; редкая проницательность в разгадывании обстановки и способность быстрого принятия вполне сообразных с обстановкой решений; беспредельная вера в самого себя и умение не теряться от всякого рода неожиданностей; глубокое понимание основных законов военного искусства и находчивость в изобретении средств для проведения их в жизнь; способность к продолжительному настойчивому стремлению к достижению раз поставленной цели; наконец, верная оценка боя, как средства решительного, необходимого, но в то же время, как средства крайнего, «зело опасного», а потому требующего всесторонней подготовки,—вот ряд штрихов, характеризующих полководческое искусство Петра Великого». В этих и подобных отзывах не следует видеть официальные панегирики: они основаны на более вдумчивом изучении исторической обстановки, чем легкая сатира Ключевского, который Карла XII характеризовал, как «скандинавского бродягу», и находил, что, воюя с Петром, «Карл оставался верен своему правилу—выручать Петра в трудные минуты» и что поэтому Петру «стыдно было проиграть Полтаву после Лесной». Для Ключевского Петр в Шведской войне был «туго понятливым школьником» и так же «плохо» вел «внешнюю политику», как воевал: при Полтаве, например, «на радостях позабыл преследовать остатки разгромленной армии!» От такой в сущности не обоснованной насмешки с удовлетворением возвращаешься к старинной, замечательно тонкой, вдумчивой и серьезной характеристике «Петра Великого, как полководца», данной Леером и легшей в основание всех дальнейших оценок Петра у

русских военных историков. [1] Без всяких панегириков, на основе объективного изучения фактов, Леер определяет Петра, как «великого полководца, человека, который умел все делать, мог все делать и хотел все делать». Столь же далекие от панегириков русским людям шведские историки отдают однако должное военному таланту Петра и ставят его даже на одну высоту с своим Карлом. У Артура Стилле, например, мы находим указание, что царь за время войны раскрыл свой талант вождя, и в трудную минуту кампании 1708 года его стратегия оказалась столь же энергична и целесообразна, как стратегия его противника Карла. [2]

Перед читателем прошел длинный ряд отзывов о Петре, данных в разное время, с разных точек зрения, самыми различными людьми. От времени самого Петра до наших лет во всех этих отзывах звучит одна и та же нота: Петр — сила; даже для Милюкова, не уважающего Петра, Петр «какая-то неиссякаемая жизненная сила». В определении действия этой силы сходятся все: действие было могущественно; одни считают его благодетельным, другие — вредным, но никто не считает его малым и безрезультатным. В определении свойств этой силы мнения расходятся: одиноко представление Милюкова о малосознательности Петра; все, кроме него, видят в Петре принцип и идею, хотя и разно их определяют. И никто не отказывает Петру в признании гражданской доблести. Она выражалась в формах той эпохи, для нас во многом совершенно чуждых, но нам

---

[1] Статья Г. А. Леера помещена в «Военном Сборнике» за 1865 г., № 3 и 4 (март и апрель).

[2] Arthur Stille «Carl XII: s Fälttagsplaner 1707—1709» (Lund. 1908), стр. 107: «Att tsaren under krigstiden utvecklat sina fältherreegenskaper, kan ej bestridas, och hans strategi vid det kritisca tillfället i september 1708 var liksom Carl XII: s kraftig och malmedveten».

понятных. Стремление к народному благу, самоотверженное служение государству, напряженный личный труд, страстная любовь к знанию и вера в необходимость просвещения—эти качества в Петре бесспорны. Они обязывают каждого, кто хочет писать и говорить о Петре. Они должны быть введены в характеристику Петра,—и тогда Петр не будет грязным, пьяным, злым и развратным мужиком, в котором нечего описывать, кроме «красного бабьего лица» и «огромной мозолистой руки с ногтями на манер копытец». В добросовестном изображении Петр вернется с «посадьев» и «дикого поля» в свой рабочий кабинет, в залу сената, на верфь, где его рука, занятая исправлением законодательного проекта или механической работой, не будет «загребать пальцами с блюда пищу», «совать в рот» кусок хлеба и «пальцами хватать уголек из очага» для своей «изгрызанной трубочки»...

IV. ДЕТСТВО ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

Дворцовая обстановка. Обучение. Игры. Первые иноземцы при Петре.

Вряд ли есть надобность подробно рассказывать о той обстановке, в которой прошло детство Петра Великого. Можно думать, что всем известен сложный состав семьи царя Алексея Михайловича и обилие у Петра единородных братьев и особенно сестер. Кто хоть немного знаком с самой краткой биографией Петра, знает, конечно, о семейном разладе между роднею царя Алексея по его первому браку и его роднею по второму браку. Пока царь Алексей был жив, разлад не переходил в открытые ссоры: царь был вспыльчив и скор был на бранное слово и на руку, а потому при нем свояки не решались давать волю своим чувствам. Некоторый простор чувствам настал при царе Федоре Алексеевиче (1676—1682), но и при нем все-таки дворцовый «чин» не нарушался. Придворные кружки Милославских (свояков царя Алексея по первой женитьбе), Нарышкиных (свояков по второй женитьбе) и Языкова с Лихачевыми (личных любимцев царя Федора) интриговали вокруг слабого царя, боролись за влияние на него и на ход управления, но не впадали в открытые ссоры и междоусобие. Дело ограничивалось тем, что

одни других упрятывали на воеводства в дальние области или просто удаляли от двора под различными измышленными и мелочными предлогами. Сперва потеряли свое положение Нарышкины, потом Милославские, и к концу жизни царя Федора около него остался в полной силе кружок его личных друзей—Языкова, Лихачевых, Апраксиных. В значительной мере этому-то кружку Москва была обязана открытою смутой 1682 года.

Возведенная на московский престол в начале XVII века Романовская семья явно вырождалась. Сам основатель династии царь Михаил был болезненным человеком, смолоду «скорбел ножками» и сошел в могилу 49 лет от роду от цынги и «меланхолии, сиречь кручины». Как в семье его отца, так и в его собственной, большинство детей умирало, а выживали немногие. Единственный уцелевший его сын царь Алексей в свою очередь жил недолго: он умер 47 лет от цынги и водянки. В большой семье царя Алексея, прижитой от первого брака, было 5 сыновей и 6 дочерей, и все сыновья оказались слабы и болезненны. Троих схоронил отец при своей жизни; двое пережили отца (Федор и Иван), но не подавали надежды на долголетие и продолжение «царского корени» и действительно не дожили даже и до 30 лет. Видя их хилость, отец естественно мог думать о необходимости второго брака для утверждения династии. Этот второй брак состоялся в начале 1671 года, и плодом его был Петр, здоровый и рослый ребенок, в котором материнская кровь сказалась, повидимому, благотворным образом. Таким образом при самом своем рождении Петр стал «надеждой династии», предметом особой радости одних и предметом опасений для других. Отец и мать радовались на цветущего ребен...
за ними радовалась вся родня матери, видевшие в П...
своем племяннике и внуке, будущего царя. Наоборо...

свойство царя Алексея по первому браку, и даже его собственные дочери царевны, единородные сестры новорожденного Петра, чувствовали не радость, а опасение, что малютка, пережив братьев и получив престол, даст первенство во дворце своей матери и ее родне. Они боялись этого первенства, боялись за самих себя и тем хуже относились и к малютке и к его матери царице Наталье Кирилловне.

Чтобы понимать ясно психологию московских придворных карьеристов того времени, надобно помнить, что в лице маленького Петра все они привыкли видеть будущего царя. Когда здоровье царя Федора окончательно расстроилось и его близкий конец стал явен, господствовавший кружок московских бояр поставил перед собою вопрос о преемстве престола. Детей у Федора не было; стало быть его наследниками являлись братья. Из них 15-летний Иван был явным дегенератом, убогим как умственно, так и физически, а 10-летний Петр, напротив, цвел здоровьем. Бояре предрешили вопрос в пользу Петра, но они понимали, что при отсутствии точного закона о престолонаследии судьбу престола мог бы решить только земский собор. К тому времени, когда Федор скончался (27 апреля 1682 г.), отношения во дворце явно определились. Кружок Лихачевых и Языкова, царских любимцев, готовый к провозглашению царем Петра, успел заранее сблизиться с его родней Нарышкиными. Сторона Милославских оставалась в тени, готовая, конечно, к протесту и борьбе. В самый день кончины Федора с необыкновенной торопливостью последовало совещание бояр с патриархом, и на этом совещании было условлено воцарить Петра, но для виду передать дело собору. Собор был собран немедля, в тот же [illegible] из случайных людей, даже не во дворце, а на пло[illegible] дворцового крыльца. После речи патриарха, с во-

просом, кого собор избирает в цари, криками приготовленного большинства был провозглашен Петр; однако в толпе были и такие, кто кричали за Ивана. Хотя во всей этой процедуре не было и тени законности, тем не менее бояре ею удовлетворились, и Петр стал царем. Так как при этом недееспособность Ивана ничем не была удостоверена, а форма избрания Петра была явно незакономерна, то для Милославских создалась возможность протеста и борьбы за попранные права царевича Ивана.

Этот момент поспешного и сомнительного в юридическом и моральном смысле избрания послужил завязкою той кровавой драмы, в которой Петру пришлось сыграть пассивную и тяжелую роль. Сторона Милославских сорганизовалась под руководством царевны Софьи Алексеевны и ее родственника боярина Ивана Михайловича Милославского. Софье было тогда не более 25 лет; но ее ум и энергия делали ее опасным противником. А Иван Михайлович был давний, на все готовый интриган. Не успело еще осмотреться новое правительство маленького царя Петра, в котором первенство принадлежало его матери царице Наталье, а главные роли ее дядьям и братьям,— как Милославские возмутили стрельцов. Стрельцы—московская гарнизонная пехота—давно, еще с 1648 года, заставляли задумываться московскую власть. Живя в особых «слободах» в Москве со своими семьями, промышляя и торгуя, стрельцы многими житейскими нитями были связаны с низшими слоями московского населения и легко увлекались вместе с ними во всякого рода «гиль», то-есть в бунты. В знаменитых волнениях московского «мира» в июне 1648 года стрельцы принимали не малое участие; они открыли для бунтовавшей толпы Кремль и подступы ко дворцу и вместе с московским простонародьем громили и грабили боярские дворы. Тогда в первом припадке страха,

царь Алексей потерял веру в преданность и верность стрелецкого войска и намеревался заменить его иностранною дворцовой стражей. Мысль о такой страже из наемников долго бродила в дворцовых кругах, но в конце концов была оставлена. Царь Алексей произвел какой-то отбор в стрелецкой массе и выделил из нее особо надежные части, которые держал на своем царском коште. Такие отборные части составились первоначально из трех новых полков или «приказов» стрелецких, состоявших в ведении Тайного приказа под командою Полтева, Соловцева и знаменитого впоследствии А. С. Матвеева. Позднеей количество таких «приказов» возросло. Новый подбор стрельцов был оправдан московскою смутою 1662 года. Во время острых народных волнений этого года стрельцы остались верны присяге и по царскому приказу «бунтовщиков имали и до смерти их побивали, а бояр побить им и домов разорять и грабить не дали». После этого благоволение царя к его новым стрельцам еще больше возросло. Других служеб служилые люди отмечали, что царь стрельцов балует, «дает им свое государево жалованье многое», не в пример людям других служеб. Повидимому это было верно: царь Алексей уделял стрельцам очень много, даже слишком много внимания, ласки и подачек; он их избаловал, и современники справедливо начали сравнивать их с янычарами, привыкшими играть видную роль и сознавшими свое значение для дворца.

Вот эту-то «надворную пехоту» противники царя Петра, царицы Натальи и их родни и друзей двинули во дворец на правительство в мае 1682 года. Стрельцы шли в Кремль с привычною для них мыслью, что в них видят защитников и охранителей династии, что на них лежит обязанность защитить царскую семью, восстановить обиженных в их правах и покарать насильников. Им представили дело

так. что старшая царская семья царевича Ивана угнетена Нарышкиными, а сам Иван пожалуй уже и не жив. Стрельцы. едва ли понимая, что они делают. избили до смерти многих бояр, свергли правительство Петра, провозгласили царем Ивана вместе с Петром и передали всю власть в руки царевны Софьи и ее друзей. Во время происходивших во дворце насилий и кровопролития маленький Петр дрожал за свою жизнь и видел своими глазами гибель своих близких и родных. А затем последовали целые месяцы тяжелых испытаний, когда и победившая царевна Софья и побежденная царица Наталья одинаково боялись стрелецких насилий и, не решаясь оставаться в Кремлевском дворце, перевезли царей сначала в село Коломенское, а затем в крепкую своими каменными стенами Троицкую лавру. Москва осталась в руках разнузданных стрельцов, начальник которых князь Хованский не мог или не хотел вернуть их к сознанию долга. Правительство, уйдя из столицы, постепенно стягивало к лавре мобилизованные отряды дворянской конницы и, опираясь на дворян, презиравших и не любивших набалованных стрельцов, начало осенью действовать. Хованский внезапно был схвачен на охоте и казнен. Стрельцы тогда подняли было восстание, но, осмотрясь, испугались собранной под Москвою дворянской рати и понемногу сдались и начали просить милости и пощады. Только в ноябре 1682 года правительство решилось, наконец, вернуться в столицу, и дворцовая жизнь пошла в свою обычную колею. В государстве было не совсем обычное «двоецарствие»: на престоле сидели оба брата—Иван и Петр. За их несовершеннолетием официально правила государством «правительница» царевна Софья, которой этот титул был усвоен во время стрелецких волнений якобы земским собором, а в сущности «по челобитью стрельцов». Во главе московских приказов стали

близкие к Софье люди, ее родня и друзья. Царица Наталья и те Нарышкины, которые уцелели от стрелецких насилий, были в стороне от всяких дел. Маленький царь Петр жил с матерью обычною жизнью царевичей XVII века, далекою от деловых сфер и политических дел.

Майский дворцовый переворот и кровавые потрясения 1682 года создали Петру необычную для ребенка обстановку и дали ему ряд тяжелых впечатлений. Он видел много кровавых сцен; жил в страхе за себя и за своих близких; вместе с ними страдал от вражды и насилий недружелюбной родни: вместе с ними ненавидел угнетателей и насильников. Жизнь рано показала ему свои тяжелые и темные стороны: сколько злобы кипело вокруг него, как легко лилась кровь без вины и без суда, как бесстыдно проявлялось насилие и лицемерие в отношениях, с виду закономерных и высоко приличных! Все это не могло остаться без следа в чуткой душе способного и впечатлительного ребенка и растило в ней семена грубости и жестокости, и в то же время отвращение к фальши и несправедливости. В это именно время зарождалась в Петре та двойственность моральных настроений, которые в п… следующие годы бросалась в глаза наблюдателям. Петр … минуты гнева, даже в мгновенном припадке раздраже… бывал способен убить человека и не стеснялся в спе… выражения своих чувств. Он бывал жесток в сво… прессиях и мстителен в отношении тех, кого счи… ими врагами. И в то же время в нем всегда жил… справедливости, бравшее верх над вспышками г… самом деле, как сказал поэт, бывал «от буйнс… пред ним отличен Долгорукий». Если в пер… дел вредный для государства тип и потом… му беспощаден, то во втором он чутко умел … го… …ество побуждений и моральную стойкос… ники

не раз отмечали любовь Петра к правде и искренности. Неплюеву при начале его сотрудничества с Петром советовали: «говори правду и ничего не солги, хотя бы что и худо было; он де больше рассердится, буде что солжешь». В этих словах указана была одна из основных черт характера Петра.

Хотя правительница Софья и не стесняла царя Петра в его ежедневном обиходе, в расходах на его содержание, забавы и игрушки, однако царица Наталья и Петр не могли не чувствовать, что над ними тяготеет чуждая и враждебная им власть, что им необходимо жить осмотрительно и осторожно. Этим следует объяснить, между прочим, тот путь, каким пошла умственная жизнь Петра в его первые сознательные годы. Еще при царе Федоре, когда Петра малютку баловали, началось его обучение грамоте. Раньше всего его занимали иллюстрированными книгами, в которых он рассматривал картинки. В конце же 1679 или в начале 1680 года он сел за «азбуку» и «букварь», и стал учиться читать и писать на особом «учительном налое», обитом «червчатым (ярко-малиновым) атласом» с серебряным галуном. По обычному старо-московскому порядку он изучил азбуку и склады и прочитал «часослов», «псалтырь», «деяния» и «евангелия». Каллиграфия ему не далась, и, по выражению М. П. Погодина, «почерка его ничто не может быть безобразнее», хотя прописи Петра и были облечены в «червчатый бархат». В круге первоначального обучения, вместе с прочим, Петра, вероятно, обучили и церковному пению. Этим исполнена была «первая ступень» школьных занятий. Надлежало подниматься на вторую — передать ученика в руки киевских ученых монахов. Они провели бы Петра через курс тогдашней схоластической школы, где он изучил бы грамматику, пиитику, риторику, диалектику и философию, латинскую и греческую грамоту

и польский язык. Этот курс учения проходили старшие братья и сестры Петра, конечно, в меру способностей и разумения; этот курс, казалось, суждено было пройти и Петру. Но он его не прошел. Софья не думала заботиться об образовании Петра и пренебрегала этим делом. А царица Наталья видела, что киевские ученые и их московские ученики (вроде Сильвестра Медведева) прилепились к правительнице Софье и явно держались господствовавших кругов московской знати. Они поэтому представлялись царице Наталье врагами, и царица, из опасения порчи и отравы, просто боялась допускать их к своему сыну. Таким образом Петр остался без надлежащего образования, в некотором смысле неучем и невеждою. Досуги, образовавшиеся у Петра от школьных занятий, пошли у него на своего рода безделье — на воинские забавы, столь характерные для его натуры и столь повлиявшие на его судьбу.

По дворцовым записям, отмечавшим в особых книгах всякого рода расходы на царскую семью, можно проследить, какими игрушками тешился Петр и в каком количестве они ему доставлялись. Это сплошь детское оружие: пищали, пистоли, карабины, пушечки, топорки, «лучки недомерочки», знамена и прапорцы, сабельки, барабанцы и т. п. Не достигнув еще трех лет, Петр уже окружен этим грозным инвентарем и без конца портит его в играх со своими сверстниками, «потешными ребятками», состоящими в его свите «комнатными стольниками». Кроме таких ребяток, около него держат карликов, входивших тогда в придворный штат, как его нормальная принадлежность. У Петра была даже собственная маленькая карета, «вся испещренная золотом»; ее везли четыре крохотные «возника темнокарие» (лошадки); когда Петра в ней возили, по бокам шли четыре карлика, а пятый ехал сзади также на крохотном коньке. Из числа потешных ребяток Петра неко-

торые остались при нем и работали с ним впродолжение всей его жизни. Таков «канцлер» Г. И. Головкин, в 1721 году поднесший Петру торжественно, во главе сената, титул «императора всероссийского»; таковы А. А. Матвеев и А. М. Головин. Равным образом и «карлы» состояли при Петре, как привычная с детства принадлежность дворцового штата, всю его жизнь. Мы встречаем при нем карликов и карлиц не один раз на торжествах, где их подают в пирогах на стол, и они, выйдя из вскрытого пирога, говорят речи собравшимся гостям. В 1710 году Петр женит с большим торжеством одного из своих «карл», а в 1724 году его же хоронит с «крошечным попом» и большою процессией карликов и карлиц. Все это — переживания детства, в которых не следует видеть только собственных шутовских выдумок Петра.

Обычные для царских детей забавы стали принимать у Петра особый характер и размах во время его пребывания в потешных селах. Когда Петр с матерью после зимы, проведенной в Кремлевском дворце, выезжал на сельский простор, он повидимому забывал свою азбуку, переплетенную в «пергамин зеленый», и на живой зелени полей развертывался во всю ширь своей даровитой и страстной натуры. Его не удовлетворяла малая «потешная» площадка, сделанная для него в 1682 году в Кремле у его хором и обставленная деревянными пушками. В селе Воробьеве в 1683 году, а позднее в селе Преображенском Петр стреляет из настоящих пушек и вместо «потешных ребяток» окружает себя взрослыми участниками забав. Уже в 1683 году около него видим «огнестрельного мастера» иностранца Зоммера, который для него производит «потешную огнестрельную стрельбу», и тогда же упоминаются у «потешного» дела будущие первые солдаты Преображенского полка С. Бухвостов и Е. Воронин. С течением вре-

мени центром военных забав Петра становится село Преображенское, потому что под этим селом, на берегу реки Яузы, начиная, кажется, с 1685 года, возникает «потешный город», названный Пресбургом. [1] Сначала в этом укрепленьице было всего два-три домика; но понемногу из него сделали целую крепость. С 1686 года туда везут из Москвы большое количество всякого рода строительных материалов. На стенах городка ставят башни; в городке строят церковь и царские хоромы. Вокруг городка возникают «слободы», в которых Петр поселяет участников своих забав, понемногу организуемых в «потешные полки» Преображенский и Семеновский. Нельзя сказать, чтобы Софья спокойно относилась к таким широким затеям Петра; но она не находила возможности им мешать: во-первых, Петр все-таки был государем, и запрещать ему расходовать средства на постройки и на его личный обиход не приходилось; а, во-вторых, забавы отвлекали внимание Петра от государственных дел и от самой Софьи, чем она должна была, конечно, дорожить. К совершеннолетию Петра у него в Преображенском образовалось большое и сложное военное хозяйство и воинская сила, ему преданная. Напрасно Софья относилась к ней с презрением, называя ее «Преображенскими конюхами»: «потешные полки» при столкновении Софьи с братом составили надежную охрану Петра и основные кадры его войск. [2]

[1] Пресбург стоял на островке на реке Яузе. По словам очевидца, это была «настоящая маленькая крепость, обнесенная с трех сторон деревянными стенами, а с четвертой, у входа, землею в виде вала, с настоящим подъемным мостом, и вся окруженная водой; четыре маленькие башни заменяют в ней бастионы, а в середине против входа сделаны еще большие ворота с башней наверху».

[2] Один из современников определенно говорит, что Петр «помалу привел себя теми малыми полками в охранение от сестры

Так употреблен был Петром досуг от несостоявшейся схоластической науки. В Петровских «потехах» пришла к Петру, впрочем, и некоторая наука непредвиденных и необычных свойств. Возня с пушками и всяким оружием, Преображенские постройки и всякое воинское хозяйство приучили Петра к рукоделью и мастерствам. Есть ряд записей, показывающих, как постепенно Петр обзаводился всякого рода инструментами для изучения ремесл. В 1684 году к нему во дворец поступают от каменьщиков их «снасти»: «лопатки и молотки железные», за которые дано 16 алтын. В том же году к нему приказано «в хоромы взнесть на печать доску кованую красной меди, гладкую» в 10 квадратных вершков; трудно определить ее назначение, но, конечно, она назначалась для каких-то ручных упражнений. За нею последовали «два топорика маленьких плотничьих» с гайками, «чтобы было крепко». В 1686 году Петру сделан был «верстак столярный» и покупалась в его хоромы «кузнечная всякая снасть». Так, в 12—14 лет Петр переходил от ремесла к ремеслу, набивая в них свою изумительно переимчивую руку. Это было своего рода знание, в токарном ремесле дошедшее до тонкого художества. Другого рода знание оказалось необходимым для Петра при изучении военного дела — правил фортификации и артиллерийской стрельбы. Здесь надо было уметь считать и чертить и мерить. Не усвоив «цыфири» в Кремлевском тереме, он принимается за нее на ходу в Преображенском, и усваивает ее уже в виде иноземном — с латинскою номенклатурою: «аддиция», а не сложение, «субстракция», а не вычитание и т. д. За такой простой

или начал приходить в силу»; «а из стрелецких полков возлюбил Сухарева полк и всякое им награждение давал и к себе привлек или, сказать, верными учинил».

«цыфирью» следуют более сложные упражнения в высших степенях математических познаний. Сохранились отрывки учебных упражнений Петра, в которых он излагает правило определения широт с помощью «астралябиума» и опыт с мортирою, как взять дистанцию, «когда хочешь на уреченное место стрелять». В эти высшие сферы счисления Петр, конечно, не мог подняться сам и искал учителей; разумеется, он их искал не среди схоластов-монахов, а среди иностранцев-техников, которые в большом количестве вращались тогда в дворцовом быту и деловых сферах Москвы. Сам Петр рассказывал, что, когда в его руки попала астролябия, и он не знал, как ею пользоваться, то обратился к доктору Захару фон-дер-Гульсту; тот тоже не знал, но обещал, что «сыщет такого, кто знает», и действительно «сыскал голландца именем Франца, прозванием Тиммермана». «И тако (писал Петр) сей Франц через сей случай стал при дворе быть беспрестанно и в компаниях с нами». Не надобно удивляться тому, что в малолетстве Петра вокруг него мелькают иностранцы. Артиллерист Зоммер, доктор Гульст, математик Тиммерман, конечно, не одни были в житейской обстановке Петра. В дворцовом обиходе того времени за всяким делом, требовавшим специальных знаний, обращались к «немцам» в Немецкую слободу. Много их служило и в потешных селах особенно в Измайловском, где царь Алексей завел обширное и правильное хозяйство. Что же касается до Преображенского, обычной резиденции маленького Петра, то оттуда до Немецкой слободы было, что называется, рукой подать — не более двух верст. И сноситься из Пресбурга со слободою можно было не только полем, но и водою, по реке Яузе, для чего у «потешного городка» на Яузе стояли потешные суда — гребной струг и шняка с прямым парусом. О том, как легко делались эти сношения, опять-таки

рассказывает сам Петр. Когда ему случилось, гуляя по Измайловским амбарам, найти там «иностранный» бот, на котором можно было лавировать парусами против ветра, то, в увлечении этой новинкою, его поразившей, Петр немедля же в слободе велел сыскать кого-нибудь из «компании морских людей», способных починить бот и управлять им. И как в свое время доктор Гульст нашел Тиммермана, так теперь Тиммерман нашел Карштен Брандта, «который оный бот починил и сделал машт и парусы и на Яузе при царе лавировал». В этих обращениях Петра к «немцам» не было ничего принципиального, заранее обдуманного, ясно сознанного: это было дело «обышное». Но не обычны оказались его последствия.

Мальчик, лишенный правильного, по тому времени нормального богословско-схоластического образования и, за отсутствием нормальных отношений во дворце, удаленный от дел правительством Софьи, ударился в «потехи», в которых пользовался услугами техников-немцев. Общение с ними, более короткое, чем у других членов царской семьи, поставило мальчика под культурное влияние этих представителей Запада. Практические уроки военного дела, фортификации, навигации, сопрягались естественно с теоретическими уроками по математическим наукам. Забава связывалась с обучением и постепенно создавала в лице Петра новый, в царской семье еще небывалый культурный тип. Старшие братья и некоторые сестры Петра по своему образованию были богословы и словесники; Петр же оказался военным техником и математиком. Те жили и мыслили «с манеру польского», он начал жить с «манеру немецкого». Никто этого не хотел, никто этого не готовил: сама жизнь вылила Петра в новые формы. А необычные способности и порывистая страстность натуры Петра придала этим формам необыкновенную яркость. К своему

совершеннолетию Петр представлял собою уже определенную личность; с точки зрения «истовых» москвичей он представлялся необученным и невоспитанным человеком, отошедшим от староотеческих преданий. Вернется ли он на правую стезю или вовсе с пути совратится, решить пока было нельзя.

V. МОЛОДОСТЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

Придворная борьба. «Потехи» и Немецкая слобода. Крушение традиций.

Настал 1689 год, когда Петру должно было исполниться семнадцать лет. По понятиям того времени, он достигал совершеннолетия и выходил из-под опеки сестры. По пришествии в «совершенный» возраст младшего царя роль Софьи кончалась. Обе стороны— как Софья с ее правительством, так и царица Наталья с ее роднею—понимали, что близится перемена. Первые ее не хотели, вторые на нее уповали. Сам же Петр был в увлечении новым для него корабельным спортом, строил суда на Переяславском озере и, повидимому, не думал ни о чем, кроме личных забав. Как бы ни относилась его мать к этим забавам, она понимала, что надо с ними кончить и что пора приготовить сына к выступлению в серьезной правительственной роли. Для этого избрано было сильное средство: Петра женили в январе 1689 года, когда ему было только 16 лет и 8 месяцев. Действовали по присловью: «женится, переменится», и, очевидно, в расчете на раннее возмужание Петра, который, по отзывам современников, казался гораздо старше своих лет. Однако сильное средство не помогло. Жену Петру выбирала мать, а не сам он: он не

чувствовал к ней никакой склонности и месяца через два после свадьбы уже оставил свою молодую царицу Евдокию Федоровну и умчался снова в Переяславль к своим кораблям. Оттуда он писал своей «паче живота телесного дражайшей матушке» и там получал письма от «женишки Дуньки»; но ответных его писем к жене нет ни одного. О своем «бытии» в Переяславле он пространно сообщал дяде Льву Кирилловичу Нарышкину, чувства свои изъяснял матери; для жены же как будто не оставалось у него ничего. Его родные и дядька его князь Борис Алексеевич Голицын могли таким образом убедиться, что женитьба не подействовала и что необходимо иначе воздействовать на Петра, чтобы втянуть его в политическую игру против Софьи.

Софья между тем пыталась навсегда укрепить себя в правительстве. Все понимали, что ее роль временная: Софья же хотела сделать ее постоянной, независимой от возраста царей. По ее указанию, в торжественных и официальных актах стали именовать ее «самодержицей»: писали: «великие государи цари... и великая государыня благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна всея... России самодержцы». Двоецарствие обращалось в троевластие. Софья взяла обычай показываться на дворцовых выходах вместе с царями в равном с ними качестве. Чтобы закрепить и узаконить это положение «царствующей царевны», Софья заговорила о том, чтобы ей венчаться царским венцом, и поручила выведать об этом настроение стрельцов. Как она сама, так и ее доверенный начальник стрелецких войск думный дьяк Шакловитый продолжали смотреть на стрельцов прежними глазами и видели в них удобное орудие для насильственного воздействия на дворец и столицу. Но напрасно Шакловитый доказывал стрелецким представителям возможность и легкость

в данном деле такого воздействия. Стрельцы оказались более осмотрительными и сдержанными, чем были в прежние годы, и не обещали решительной поддержки. Софья поэтому остановилась в своем намерении. А между тем противная сторона наблюдала за Софьей и готовилась к борьбе с ней.

Петру исполнилось семнадцать лет 30 мая 1689 года; в июне мать уже вызвала его из Переяславля и более туда не отпустила. Петр все лето жил под Москвою, в Коломенском и Преображенском. По временам он появлялся в Москве и по разным поводам начинал ссоры с Софьей, показывая ей открыто свое неудовольствие и недружбу. Повидимому его натравливали на сестру те люди, которые руководили кампанией против Софьи Нарышкинского кружка, главным образом князь Борис Голицын и Лев Нарышкин. Отношения напрягались с каждой неделей. Софья ждала открытого нападения «Преображенских конюхов» и готовила стрельцов к отпору. Развязка пришла в августе. Вследствие какого-то подметного письма в Кремле опасались, что в ночь на 8 августа последует покушение со стороны Петра, и собрали на ночь у дворца и на Лубянке, в Белом городе в Москве, большие отряды стрельцов. Об этом дали знать благожелатели Петра в Преображенское. Петр спокойно там спал, когда ему сказали, что в Москве собрана воинская сила для нападения на него, чтобы его извести. Кто дал такой вид сообщению из Москвы, неизвестно; но Петр поверил в близкую опасность, выскочил ночью из дворца, не успев даже одеться, в близкую рощу и оттуда верхом помчался в Троицкую лавру, ища спасения в ее крепких каменных стенах. О его побеге официально было отмечено, что изволил он «идти скорым походом в одной сорочке»; неофициально выражались так, что «царя из Преображенского согнали, ушел

он бос, в одной сорочке». «Вольно ему взбесясь бегать», говорил с досады Шакловитый, предчувствуя грядущие осложнения, но отрицая всякие покушения со стороны Софьи против Петра.

Эта ночь, проведенная в смертельном страхе и стремительном бегстве, имела огромное значение для Петра. В Троицкий монастырь примчался он почти без чувств, измученный физически и расстроенный до слез. С этого времени, повидимому, начались у него «личные ужимки и кривления шеею», которые остались на всю жизнь. Это был тик или, по иному названию, «болезнь судорожных подергиваний», возникающая по большей части на почве вырождения. Иногда, уже много лет спустя, «в нощное время» Петр чувствовал «такие конвульсии в теле», что требовал посторонней помощи. Сам он приписывал эту болезнь испугу от стрельцов: при воспоминании о них, говорил он, «все уды во мне трепещут; помысля о том, заснуть не могу». На кровавые воспоминания детства новым впечатлением ужаса легла эта ночь 8 августа; после нее Петр стал страстным и непримиримым врагом того московского правительства, которое не уступало ему власти и, как он думал, покушалось на его жизнь. Основавшись у Троицы, собрав туда свою семью и послушные ему воинские силы, он потребовал у сестры удаления от дел. Постепенно на его сторону переходило московское боярство, патриарх, регулярные солдатские полки, бо́льшая часть стрелецких полков. Те же бояре и стрельцы, которые не сразу пошли из Москвы к Троице, не оказывали Софье никакой поддержки. Слишком явно было превосходство сил Петра и непререкаемо его право. Софье пришлось подчиниться. После месяца борьбы и упорства, 6 сентября 1689 года, она сдалась и была заключена в подмосковном монастыре. Приговор, произнесенный над нею Петром,

имел форму письма его к брату Ивану. В нем Петр писал, что «теперь, государь братец, настоит время нашим обоим особам... царство править самим, понеже пришли есми в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей ц(аревне) С(офье) А(лексеевне) с нашими двемя мужескими особами в титлах и в расправе дел быти не изволяем... Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас». Выражая готовность «яко отца почитать» слабоумного брата, Петр однако тут же просил его «позволить отеческим своим изволением» на то, чтобы «не обсылаясь к тебе, государю, учинить по приказам правдивых судей, а неприличных переменить». Иначе говоря, Петр, устранив Софью от дел, устранял и брата от участия в руководстве делами. Власть всецело переходила к Петру и его родне. 12 сентября последовало от них назначение начальников в центральные учреждения Москвы, и таким образом настало на деле единодержавие Петра.

Сам Петр однако мало пользовался своей властью и все предоставил матери; она же передала свои полномочия брату Льву Кирилловичу Нарышкину, Тихону Никитичу Стрешневу и князю Борису Алексеевичу Голицыну. Первый ведал внешнюю политику, второй внутреннее управление, а последний «правил весь низ (Поволожье) так абсолютно, как бы был государем». Современники не находили, чтобы после Софьи при царице Наталье дела пошли лучше. «Сия принцесса (говорит князь Борис Куракин) доброго темпераменту, добродетельного, токмо не была ни прилежная и не искусная в делах и ума легкого»; поэтому «правление оной царицы Наталии Кирилловны было весьма непорядочное и недовольное народу и обидимое». Петр ничего этого не хотел знать: он жил своими личными интересами и весь ушел в потехи. А так как

теперь над ним не было Софьи и ему некого было стесняться, то его потехи получили новый размах и характер. В ту пору, когда Петр, сидя в Троицком монастыре, собирал силы против Софьи, к нему туда, вместе с прочими служилыми чинами, приехало много иноземцев; «и в ту бытность в Троицком монастыре (говорит князь Куракин) князь Борис Алексеевич Голицын тут привел в милость иноземцев, как: Петра Гордона генерала, полковника Лефорта, Р. Страсбурга, Ив. Чамбурса и других многих». С этих пор, по мнению Куракина, началась милость Петра к иностранцам и короткость («фамилиарите») с ними. «И по приходе к Москве начал его величество в (Немецкую) слободу ездить через предвождение его же князя Б. А. Голицына». Действительно, в первые годы по свержении Софьи Петр открыто начал посещать Немецкую слободу и завязал там дружеские и любовные связи, вводившие в соблазн истовых москвичей. С другой стороны увлечение навигационным спортом в это время приняло у Петра характер страсти. Не довольствуясь простором Переяславского озера, он «по такой своей склонности к морскому ходу и по своей куриезите обыкновенной ходил дважды к городу Архангельскому видеть море». Мать пугалась за сына, молила его быть осторожнее, не пускаться в море. Но отбившийся от ее рук сын отвечал на страхи матери веселой шуткой. Из Архангельска он сообщал ей, что ждет там кораблей из Амстердама: «чего для изволишь печалиться обо мне? Изволила ты писать, что предала меня в паству матери божьей; и таково пастыря имеючи, почто печаловать? тоя бо молитвами и предстательством не точию я един, но и мир сохраняет господь». На суше Петр не был безопаснее, чем на море, так как в эти годы его «потехи Марсовы» приняли характер больших маневров с изрядным количеством пострадавших.

«Потешные бои», иногда, по словам Петра, равнялись судному дню, и их участники рисковали «переселиться в вечные кровы по чину Адамову, идеже (утешал Петр) и всем нам по времени быти». Так воспользовался своей политической победою молодой государь: «не честь он, государь, делает,—бесчестье себе», говорили о нем современные наблюдатели.

В эти годы (1690—1694) безответственных и безудержных «потех» в Немецкой слободе, на кораблях и на маневренных полях окончательно выявились все те склонности и особенности характера Петра, которые вызвали против него определенный протест в народе и которые доселе вызывают наше удивление и недоумение.) Борис Куракин посвятил этим годам в жизни Петра особую любопытнейшую характеристику. По его замечанию, уже в эти годы вследствие небрежения Петра, начал рушиться исконный чин Московской дворцовой жизни, «церемоний придворных». Куракин о них говорит: «уже в то время начало самое настало им иссякнуть, а наипервых выходы в соборную церковь отставлены были, и один царь Иоанн Алексеевич начал ходить; также одеяние царское отставлено и в простом платье (Петр) ходит. Также публичные авдиенции многим отставлены (как были даваны авдиенции приезжим архиереям, посланникам гетманским, для которых бывали выходы народные), но уже оным даваны были авдиенции при выходах просто». «Последние церемонии дворовые отправлялися как обыкновенно» (по словам Куракина) при торжествах рождения и крещения сыновей Петра царевичей Алексея (февраль 1690 г.) и Александра (октябрь 1691 г.). А затем пошли новые порядки Петр стал вовсе пренебрегать большим Кремлевским дворцом, неприятным для него по воспоминаниям о стрелецких выступлениях и деятельности Софьи. Он окончательно

основался в Преображенском и зачастил в Немецкую слободу. Преображенское получило характер резиденции. Там в 1689 году построили «съезжую избу» на «Генеральном дворе», где поместилось управление «потешных» войск и где вообще Петр сосредоточил свою правительственную работу. В 1690 году вблизи Генерального двора выстроен был дом для самого Петра—«возле веселенькой рощи довольно большое деревянное строение». [1] Из этого нового своего жилища Петр взял привычку ездить в Немецкую слободу, отстоявшую от Преображенского не более двух верст. Сначала он бывал там чинным гостем у генерала Гордона и у Лефорта. Но скоро последний втянул Петра в близкое знакомство с населением слободы. Веселый, общительный «дебошан французской» Лефорт стал явным фаворитом царя, принимал его у себя запросто и ввел Петра в круг слободского купечества и военщины. «Непрестанная бытность его величества началась быть в слободе Немецкой не токмо днем, но и ночевать—как у Лефорта, так и по другим домам, а особливо у Анны Монсовны. [2] И многие купцы агленские и голландские... пришли в его величества крайнюю милость и конфиденцию и начали иметь свой свободный вход. Также все в слободе офицеры знатные из иноземцев и торговые... не могли единой свадьбы учинить, чтоб его величество не звать, и при нем знатных персон, на свадьбы. И особливые бан-

---

[1] Это слова Берхгольца, присутствовавшего в 1724 году, при торжественном сожжении этого дома самим Петром во время большого маскарада. В «Записках Юста Юля» (1710 г.) этот дом характеризуется, как «небольшое, неказистое, плохое подворье, построенное исключительно из леса и напоминающее священнический двор в Норвегии».

[2] Девица Анна Монс — одна из ранних и довольно крепких привязанностей Петра; она сблизилась с Петром около 1692 года.

кеты чинили и балы и супе давали, также и ко многим на погребение звали»... Петр, словом, бросив Московский дворец, спустился в сравнительно низший и притом не русский круг и потянул туда за собою «знатных персон» боярского происхождения. А так как обращение в новой среде требовало некоторого приспособления к ней, то Петр и приспособлялся: «начал учиться всех экзерциций и языку голландского». Уроки голландского языка брал он у «мастера того языку» Андрея Виниуса; были особые учителя фехтования, верховой езды и прочих «артей» (искусств); только танцы усвоил Петр «с одной практики в доме Лефорта помянутого». Почему-то надобно было учиться даже барабанному бою и, обучившись «по барабаном от старосты барабанщиков Федора, Стремянного полку», Петр всю жизнь свою любил показывать это свое искусство и усердно барабанил в различных торжественных собраниях и пиршествах. [1]

Мало-по-малу связь со слободою окрепла у Петра до такой степени, что он устроил себе там своего рода оседлость. Дом Лефорта стоял близко от Преображенского дома Петра, почти против него на другом берегу реки Яузы. В своем деревянном доме, имевшем значение официального царского жилища, Петр стеснялся водворить новые свои обычаи. К тому же дом был очень невелик. Поэтому Петр пользовался домом своего сердечного любимца Лефорта, как своим собственным. В одном из писем Лефорта читаем: «Поверьте мне, что я не господин и того немногого, что у меня есть, ибо наши князья (надо

[1] Так, в первое его посещение Дрездена, в 1697 году, Петр, слушая за парадным обедом оркестр, так воодушевился, что «сам взял барабан и в присутствии дам стал бить с таким совершенством, что превзошел далеко барабанщиков». То же бывало и в позднейшие годы.

разуметь: Петр со свитой), старые и молодые, оказывают мне честь своими более нежели частыми посещениями; даже, когда меня не бывает дома, они не преминут покурить и попить у меня, как будто я и не отлучался». Так как для многолюдных собраний изящный, но небольшой дом Лефорта не годился, то Петр распорядился пристроить к нему большую залу и роскошно обставил ее серебряной посудой, картинами, зеркалами, коврами. В этой-то зале и справлялись все торжества на новый манер, на которых сходилась «компания» Петра, собранная из самых разнообразных туземных и иностранных элементов. Хозяином здесь был гораздо больше Петр, чем Лефорт; и здесь он уже не стеснялся вовсе. В доме Лефорта, по словам Куракина, «началось дебошство, пьянство так великое, что невозможно описать». На этой почве безудержного разгула вырос и знаменитый «всешутейший собор» с «неусыпаемою обителью» шутов и дураков. Если последняя «обитель» отражала в себе старый туземный обычай держать шутов и ими забавляться, то «собор» мог сложиться в форме грубой пародии сначала на «католицкую» иерархию, а потом, по мере увлечения затеей, и на православное архиерейство,—только в обстановке разноверного, в большинстве протестантского и вольномысленного общества Немецкой слободы. «Всешутейший собор» был попыткой организовать ритуал пьяных оргий в виде мистерий Бахуса. Пьяницы составляли правильную коллегию, служившую Бахусу под главенством «патриарха» [1] и состоявшую

[1] Первым «патриархом» был Матвей Филимонович Нарышкин, «муж глупый, старый и пьяный», по словам Куракина. Он умер в 1692 году, и после него патриархом стал учитель Петра Никита Зотов с титулом «всешутейший отец Иоаникит Пресбургский, Кокуйский и Всеяузский патриарх». Таковым Зотов оставался до самой своей смерти в 1717 году.

из разных священных чинов до «дьяконов» включительно. Имея резиденцию в Пресбурге (почему патриарх и звался Пресбургским), собор действовал там и в слободе, а иногда выскакивал и на московские улицы, к великому соблазну православного народа. Вместе с ним царь «играл святки», посещая на рождестве дома московских вельмож в шутовском маскарадном виде, целой процессией в несколько десятков, если не сотен участников. Эта «игра» пьяных и самодурных людей по боярским домам «так происходила трудная, что многие к тем дням приготовлялися как бы к смерти»; «сие славление (праздника) многим было бесчастное и к наказанию от шуток немалому: многие от дураков были биваны, облиты и обруганы».

Вот чем Петр заменил прежний уклад дворцовой жизни. И тот, конечно, был не без грехов; но там грехи прятались за степенным, размерным «чином» показной благочестивой и порядливой жизни. У Петра же не было ничего благочестивого и порядливого, не было вообще никакого «чина», кроме кощунственного ритуала «всешутейшего собора». Современники, конечно, не имевшие возможности предугадать в Петре его гениальное будущее, видели в нем только сбившегося с пути юношу, от которого нечего ждать проку, который «в пустоши» уклонился и не годился для серьезного дела. Со временем пришло к Петру и серьезное дело, но годами сложившиеся «пустошные» привычки остались у него на всю жизнь. Как в эти годы молодого брожения, так и впоследствии он питал любовь к пирушкам, к пьяному разгулу, к грубой шутке, к маскарадному шутовству. За ним всю жизнь волочился его «всешутейший собор» и бегала «неусыпаемая обитель»; и посторонние наблюдатели с величайшим удивлением убеждались, что царь мог вести серьезные и умные разго-

воры под гам и выверты своих шутов, которых он по привычке даже не замечал.[1]

Как пирушки и шутовство приобрели у Петра большой размах и скандальную гласность, так в данное время и его морские и воинские «потехи» приняли вид большого, хотя и «пустошного» дела. Нептуну и Марсу Петр служил, как Бахусу, без удержу и стеснений. С Переславского озера, где он образовал целую верфь, он перекинулся на Белое море, стал строить там корабли и заказывал их в Голландии, проводил голландскую эскадру от Архангельска до самой горловины Белого моря, посетил Соловки, выдержал сильную бурю около Унской губы. Весь быт единственного русского порта в устьях Двины стал знаком Петру: все прелести и опасности «морского хода» он изведал вполне. На Белом море в Петре окончательно сложился моряк; в упоении морским делом он стал именовать себя «шкипером», а из своих приближенных составил целый морской штаб для неосуществленного пока флота.

С таким же увлечением отдавался Петр и всяким «Марсовым потехам», от вычурных фейерверков до больших маневров, переходивших иногда в «смертный бой». Фейерверками Петр увеселял всю Москву, доселе незнакомую с этим удовольствием. На них сбегался весь город, и зрители могли видеть не только замысловатые огненные картины, но и пострадавших от них по неосторожности людей. Так,

---

[1] Берхгольц видел «обитель» в самом конце жизни Петра, в 1724 году, и говорит, что она состояла из большого числа разного звания людей, которые, приехав за царем в гости, заняли три стола о 20 или 24 приборах каждый. За одним из столов поместились одни простолюдины, которые разными кривляниями и забавными выходками стараются развеселить Петра, когда он не в духе; бывший среди них, во время обеда у герцога Голштинского, один простой матрос становился на голову и принимал удивительные позы.

однажды, какой-то дворянин («a gentleman», по выражению Гордона) получил в голову пятифунтовую неразорвавшуюся ракету, от которой тут же испустил дух. В другой раз пострадали от ожогов личные приятели Петра, Страсбург и Тиммерман, и около них были убиты трое рабочих. Но такие частности не останавливали Петра. На тех маневрах, которые происходили в окрестностях Преображенского и Семеновского, действующие части разделялись на «армии» под командою «генералиссимусов» Ф. Ю. Ромодановского и И. И. Бутурлина, и столкновения двух враждующих армий были так задорны, что переходили в настоящие боевые стычки, не обходившиеся без жертв. В июне 1690 года в одной из таких стычек опалило гранатой лицо самому Петру, а в сентябре был ранен в лицо и в ногу Гордон. В следующем году умер от раны князь И. Д. Долгорукий—«от тяжкие своея раны, паче же изволением божиим», как выразился о нем Петр. Венцом «потешных» предприятий Петра был так называемый Кожуховский поход (от деревни Кожуховой, близ Коломенского) 1694 года. На Коломенских лугах сражались две «армии» тысяч по 15 в каждой. Одной командовал «король» или «царь» Пресбургский Федор (он же Фридрих) Ромодановский, другою—«царь Семеновский» или «король Польский» Ив. Бутурлин. Игра продолжалась недели с три, [1] и «хотя добрый порядок был учинен, однако ж, с обеих сторон убито с 24 персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50». Для этого похода были мобилизованы не только обычные «потешные» полки, люди которых обыкли быть

[1] Если считать период мобилизации, то дело растянулось месяца на два. Не особенно любезно со стороны Петра было назвать [illegible] одителя обреченной на поражение стороны «королем Поль- [illegible]; быть может, Петр пользовался тем, что слово «польский» имело два смысла - от страны Польши и от «поля» (степи).

«в солдатской, матросской и плотнической службе», но и дворянство окружающих Москву уездов и все стрелецкие полки. По своему масштабу эта «потеха» вышла из ряда остальных и может рассматриваться, как пробная кампания всех накопленных Петром воинских сил его собственной выучки.

VI. ПЕРВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШАГИ.

Война с турками и заграничное путешествие.

Веселая жизнь безответственного монарха, не правившего государством, а «уклонявшегося в потехи», была омрачена безвременной кончиной его матери. Наталья Кирилловна умерла, не достигнув и 45 лет, в январе 1694 года. Волей-неволею Петру приходилось самому браться за дела и слушать доклады по текущему управлению и внешней политике. Кипучая натура Петра недолго отдавалась печали: он стал, по его собственным словам, «яко Ной, от беды мало отдохнув и о невозвратном оставя, о живом думать». Пошли попрежнему пирушки и потехи, но они осложнялись теперь заботами о практическом деле. Кожуховский «поход» показал Петру, какими силами он может располагать для войны; а необходимость и своевременность войны сознавалась тогда в московских правящих кругах под влиянием отношений к Крыму и Турции, как раз обострившихся в те годы. Когда Петр убедился, из докладов своих посольских дьяков, в своевременности похода на юг, к Черному морю, он организовал ~~этот~~ поход по старому московскому правилу—маскировать главный удар демонстративным маневром. Дворянская конница и украинские казаки двинуты были весною 1695 года на Крым

для того, чтобы скрыть главную цель похода—покушение на Азов. От старых московских политиков Петр мог точно узнать значение Азова, запиравшего выход с Дона в море, и ту роль, какую играла эта крепость во времена его деда царя Михаила Федоровича, когда казаки, взяв Азов, отдавали его Москве, а Москва его не решилась взять. Петр решился его взять и направил под Азов те войска, какие делали Кожуховский поход, то-есть полки нового строя и стрельцов. Как известно, предприятие Петра в 1695 году не удалось: Азова не добыли, до Крыма не добрались, хотя и взяли турецкие городки в низовьях Днепра. Петр делал вид, что доволен достигнутым результатом, и устроил нечто вроде триумфального входа войск в столицу; но, конечно, все понимали, что удачи не было и что повторилась история несчастных Голицынских походов на Крым при царевне Софье. Можно думать, что горше всех чувствовал неудачу сам Петр. Но, по меткому наблюдению С. М. Соловьева, «благодаря неудаче и произошло явление великого человека: Петр не упал духом, но вдруг вырос от беды и обнаружил изумительную деятельность, чтобы загладить неудачу, упрочить успех второго похода». Впервые здесь проявилась характернейшая черта Петра—подъем энергии после неуспеха или катастрофы: не достигнув чего-нибудь, он обычно с невероятным упрямством повторял усилия для дальнейших действий в том же направлении.[1] Вся зима 1695—1696 г. прошла в напряженнейшей работе по подготовке нового похода на Азов, в особенности же по постройке флотилии, чтобы ею обложить Азов и с моря. Весною 1696 года осада Азова во-

[1] Он тому же учил и других. Так, в 1705 году он писал Б. П. Шереметеву, разбитому шведами: «Не извольте о бывшем несчастии печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободривать».

зобновилась, и в июле крепость сдалась. Это был весьма крупный военный и политический успех.

Он послужил исходною точкою для дальнейших предприятий Петра. До сих пор в своей политике Петр следовал московской традиции. Борьба с турками и татарами была ему завещана предшественниками; способы борьбы не отходили от старых форм. Нового было только то, что Петр бросил под Азов полки регулярного строя и во второй поход двинул флот. Сопровождавшие боевую деятельность Петра дипломатические сношения с его союзниками, цезарем и Польшей, велись также в традиционном порядке. Но, отпраздновав с большим шумом Азовское взятие, Петр вступает на новый путь —небывалых и неожиданных мер. Он задумывает экстренную постройку флота для Азовского моря, образование кадра русских моряков, создание европейской коалиции против «врагов креста господня— салтана Турского, хана Крымского и всех бусурманских орд» и, наконец, сам инкогнито собирается заграницу. Во всем этом порыве энергии было много утопического. Молодой царь считал возможным в два года создать большой флот; считал возможным в полтора раза для этой специальной цели увеличить податные платежи, лежавшие на народе; считал осуществимым одним своим посольством склонить к союзу против турок цезаря и папу, Англию, Данию и Пруссию, Голландию и Венецию. Немудрено, что трезвые московские умы смутились, понимая несбыточность подобных мечтаний и тягость предположенных мероприятий. В Москве появились первые признаки оппозиции против Петра, и зрел даже заговор на его жизнь. Царь сумасброд и «кутилка», который «жил не по церкви и знался с немцами», бросался в необычные завоевательные предприятия и нещадно увеличивал тягло,—такой царь не внушал никому никакого к себе доверия и будил

много опасений. Петру приходилось принимать серьезные репрессивные меры перед своим отъездом заграницу, ибо созрел даже заговор на его жизнь. За недоумевавшими и роптавшими современниками Петра и позднейший наблюдатель его действий в этот период готов признать в Петре не зрелого политика и государственного деятеля, а молодого утописта и фантазера, в котором своеобразно сочетались сильный темперамент и острый ум с политической наивностью и распущенным мальчишеством.

Таким именно Петр отправился заграницу весною 1697 года. Через полтора года из заграницы в Москву вернулся созревший умственно и способный на серьезное дело человек.

Петр ехал заграницу, зная 14 ремесл, с руками грубыми от работы, с привычкой к военному делу, с навыком к работе на корабельной верфи. При этих условиях он мог толково и сознательно учиться европейской технике во всех ее специальных областях. Необыкновенная любознательность и восприимчивость Петра влекли его за пределы технической выучки ко всему тому, что можно назвать культурою; но по складу его натуры и привычек он должен был увлекаться больше предметами материальной культуры, чем культуры духовной и общественной. Моральная распущенность Петра, обусловленная как общими свойствами полудикой московской жизни, так и особенностями его собственной обстановки, должна была препятствовать его личному облагорожению в условиях цивилизованной европейской жизни. И действительно длительное пребывание Петра в Западной Европе обогатило его новыми техническими знаниями, дало ему хорошее знакомство с внешней европейской культурой, сообщило ему много сведений из области точных наук и медицины: но не победило в нем его дурных замашек «дебошана» и

оставило его на уровне полуцивилизованного человека. В начале его путешествия он, при длительном свидании с двумя немецкими принцессами, представился им человеком невоспитанным. Они вполне оценили его природные свойства, его талантливость, ум и живость, но отметили, что он не умеет ни войти, ни начать беседы, ни опрятно есть. Во время ужина, когда он преодолел свою дикарскую застенчивость, он, напротив, стал чересчур развязен, охотно целовался с немцами, а маленькую принцессу Софию-Доротею приподнял для поцелуя за уши и испортил девочке весь головной убор. Когда дело дошло до тостов, то Петр почувствовал себя хозяином дела и заставлял присутствовавших много пить. При этом он пустил в ход те свои приемы, какие сохранил до конца жизни: сам пил мало, а чтобы другие от питья не уклонялись, велел запереть двери и поставил к ним одного из своих с приказанием никого не выпускать. Приказания свои он давал таким манером, что принцессы нашли его сердитым: «он имеет доброе сердце и возвышенные чувства, но сердит», писали они. После многих месяцев жизни на Западе Петр основался месяца на два в Дептфорде под Лондоном и вместе с своею свитою поместился в частном доме. После его отъезда владелец дома просил у английского правительства возмещения убытков: оказалось, что постояльцы испортили не только дом, но и сад при нем, так как не соблюдали самых простых правил порядка и чистоплотности. Стало быть, многомесячное пребывание в европейской среде не оставило следа на нравах московской молодежи. И по возвращении домой Петр не стал культурнее. На официальном вечернем приеме у цезарского посла в Москве в октябре 1698 г. Петр, будучи гостем, не задумался за столом мучить боярина Головкина, «насильно запихивать ему в рот и в нос салат и наливать уксус»

а затем объявил, что у него самого заболел живот, но легко поверил, что от этого исцеляются высшим сортом токайского вина. Немного времени спустя на пиру у Льва Кирилловича Нарышкина, где были собраны иностранные дипломаты, Петр издевался над шведским поверенным в делах Книперкроном, сулил ему виселицу и «предоставил случай танцевать с дураком»; в заключение «тот же посол получил от священной десницы пощечины и истолковал их в доказательство любви». [1] Из этого можно видеть, что заграницей Петр приобрел выучку и знания, но не получил воспитания. И в последующие годы, когда требования политики и военные нужды всецело захватили Петра и не оставляли ему досуга, он оставался тем же мало воспитанным и мало церемонным человеком с наклонностью к грубой шутке и разгулу. Но после заграничной жизни он умственно вырос и созрел, и его природные способности вступили в фазу полного развития.

Во внутренней душевной жизни Петра, наряду с заграничными впечатлениями, глубокий след оставил повидимому стрелецкий бунт 1698 года. На далеком Западе слабели последние связи Петра с традиционным московским бытом; стрелецкий бунт порвал их совсем. Родина провожала Петра в его путешествие ропотом неодобрения, а встретила его возвращение прямым восстанием. Ужасающий стрелецкий розыск 1698 г. в третий раз поставил Петра пред тою враждебною ему средою, в которой на первом, наружном плане стояли стрельцы, а за ними придворные круги с Милославскими в центре и все вообще хулители Петра. В третий раз ликвидируя политическую смуту, Петр

---

[1] Позднее, в 1700 году, пред самым началом войны со Швецией Петр издевался над недальновидным Книперкроном и лживо уверял его в своем миролюбии и приязни к Швеции.

проявил неимоверное озлобление против своих антагонистов. Он вел дело к полному уничтожению стрелецкого войска и к истреблению наиболее ненадежных его представителей. Кровь лилась ручьями; Петр сам срубил несколько стрелецких голов и заставил своих окружающих быть палачами. Сотни трупов казненных висели и валялись целыми месяцами в Москве и в Преображенском. Стрелецкие полки были расформированы. Это был свирепый террор, который Петру казался совершенно необходимым: при первых известиях о бунте он уже писал Ромодановскому, правившему тогда Москвою: «семя Ивана Михайловича (Милославского) растет, в чем прошу быть вас крепким: а кроме сего ничем сей огнь угасить не мочно». «Крепким» он себя и показал в последовавшей репрессии. Петр принадлежал к типу людей словоохотливых, но скрытных. Его письма, богатые шутками и обстоятельные в деловой части, никогда не открывают читателю его внутреннего мира, и мы поэтому не можем судить, что он сам переживал в кровавые дни стрелецкого розыска и казней. В его бумагах сохранилась лишь одна горькая фраза, направленная на его собственных сестер Софью и Марфу: «в церкви поют «спаси от бед», а в паперти деньги на убийство дают». Наблюдавшие личную жизнь Петра в эти дни современники отмечают, что царь способен был приходить в чрезвычайное раздражение, даже в бешенство. В сентябре 1698 года, на пиру в известном нам доме Лефорта, Петр рассердился на своих ближайших сотрудников и пришел в такое неистовство, что стал рубить своею шпагою окружающих без разбора, в кого попадал удар, и многих серьезно поранил. Его успел унять его любимец «Алексашка» Меншиков. Но недели три спустя сам Алексашка был на балу до крови побит Петром по пустяшному делу — за то, что танцевал, не сняв сабли. А еще через несколько

дней на пиру у полковника Чамберса Петр опрокинул Лефорта на землю и топтал ногами. Все это признаки чрезвычайного душевного возбуждения. Петр видимо переживал с исключительною остротою свою борьбу со старой Москвой и вышел из этой борьбы, как из тяжелого внутреннего кризиса, с окончательным решением—порвать с ненавистною традицией.

Политические осложнения, поведшие к Шведской войне, помогли Петру отвлечься от его тяжелых переживаний.

VII. ВОИНСКИЙ ТАЛАНТ ПЕТРА.

Операция завоевания Ингрии. Гродненская операция 1706 года. 1708 год и Полтава.

Мысль о создании коалиции против турецко-татарского мира потерпела в Европе полное крушение. Петр к ней остыл. С Запада он вывез другие планы. Обстоятельства складывались так, что становилось возможным возобновить борьбу со Швецией за выход к морю. Не Москве приходилось искать союзников; напротив, прибалтийские государства сами желали союза с нею против Швеции. И Петр с увлечением обратился в эту сторону. Пробившись на берега Азовского моря, он удовольствовался на юге тем, что было сделано, и решил искать мира с турками. Очередною задачею для него стало пробиться к морю на западе. В самый момент заключения мирного трактата с Турцией он бросил свои войска на Финское побережье и начал «великую войну».

Несколько раз в XVII веке Москва вступала в борьбу со Швецией, но не имела удачи. Петр воспринял идею этой борьбы от отца и деда. Вместе с тем он усвоил и старую московскую стратегию. Обыкновенный московский план военных действий против шведов заключался в операции против Нарвы. Нарва влекла к себе, как порт, бли-

жайший к русским рынкам. Кроме того взятие Нарвы, по мнению русских стратегов, обеспечивало обладание всем берегом на восток от этой крепости, сразу отдавало в руки русских всю Ингрию. Как только Петр начал готовиться к Шведской войне, он предпринял тайные разведки именно в Нарвском направлении и армию свою направил прямо под Нарву.

Известно, что произошло в ноябре месяце 1700 года под Нарвой. Русская армия была разбита: регулярные полки, ее составлявшие, требовали долгой работы над восстановлением их состава и снабжения. Утраченную под Нарвой артиллерию надобно было создавать вновь. Против шведов могла действовать только дворянская конница старого строя да иррегулярные инородческие и казачьи отряды. Принято думать, что в ближайшие годы (1701—1702) главным театром военных действий стали те места на Зап. Двине, где действовал шведский король Карл против саксонской армии и русского вспомогательного корпуса. Лифляндию же с Ингрией считают местом второстепенных стычек, в которых шведский отряд Шлиппенбаха несколько раз подвергался разгрому от превосходных русских сил Шереметева. Рассеивая войска Шлиппенбаха, Шереметев преследовал одну цель — разорение края и взятие укрепленных замков. Какого либо сложного плана в русских действиях здесь не наблюдают.

Между тем можно предполагать, что такой план существовал. Его создание и выполнение, принадлежавшее самому Петру, было первым проявлением военного таланта Петра. Под Азовом Петр сражался в рядах своих войск, ходил под пулями и наводил пушки; в какой мере там он был стратегом, не видно. Под Нарвой его в день битвы не было, и нам неизвестны причины, по которым он тогда уехал от своей армии. Но тотчас же после Нарвы он явно

вступает в ту роль, которую играет все последующее время. Он—верховный распорядитель всех военных действий и соединенных с ними хозяйственных операций и дипломатических сношений. Через две недели после Нарвского поражения он посылает Шереметева «ближних мест беречь для последующего времени и итить вдаль для лучшего вреда неприятелю (в Лифляндии)». В то же время с исключительной энергией он восстановляет разбитые полки и готовит пушки, «поспешает артиллериею, как возможно: время, яко смерть», по его словам. В начале 1701 года он едет на свидание с своим союзником саксонско-польским королем Августом II и всю зиму 1700—1701 гг. ведет переговоры с разными европейскими державами, стараясь отовсюду, откуда только можно, получить содействие и помощь. И в то же время в его голове зреет план возобновления военных действий в Ингрии на новый манер, не повторяя удара на Нарву. В мае 1701 года семи ладожанам, ходившим по Ладожскому озеру и по Неве до моря, был предъявлен чертеж Ижорской Земли, и они, смотря на чертеж, подробно описывали путь от г. Ладоги, от Волховского устья, озером и Невою до самого моря. В то же время новгородские дворяне Кушелев, Бестужев и князь Мышецкий дали столь же подробную «роспись пути горнему», то-есть описание сухопутной дороги от г. Ладоги к Невскому устью. Эти сведения были необходимы потому, что Петр задумал устроить в городке Ладоге операционную базу для действий в направлении Невы и моря. Решение это было принято в первые же месяцы после поражения при Нарве, и втечение целого года в Ладогу свозилась артиллерия и всякие запасы. Можно думать, что Петр намеревался начать поход от Ладоги весною 1702 года; но вести о том, что шведы собираются напасть на Архангельск, заставили Петра отправиться туда спешно в апреле

1702 года в сопровождении гвардейских полков. На Белом море царь провел все то время, когда можно было опасаться появления там шведской эскадры, а затем — так как шведы не пришли — он в августе двинулся в Ладогу «прямым» путем, через леса и болота от Нюхчи на Белом море к Повенцу на Онежском озере. В середине сентября 1702 года он был уже в Ладоге, причем перетянул с Белого моря на руках своих солдат, два морских суденышка (яхты), надо думать, на образец для постройки таких судов морского хода на р. Свири, на «Олонецкой верфи», которая тогда была устроена в Лодейном Поле. К этому времени в Ладогу были уже стянуты пушки, артиллерийские запасы, шанцевый инструмент и провиант; там же находился с войсками князь Репнин. Авангард русский стоял на р. Назии, вблизи шведской крепости Нотебурга (нынешний Шлиссельбург).[1] Туда же Петр вызвал и Шереметева, находившегося до того времени во Пскове. Таким образом была собрана значительная армия. Не отдыхая от своего похода на Белое море, Петр немедля, в сентябре же 1702 года начал поход к морю. Этим самым восприяла начало его знаменитая операция завоевания Ингрии.

До Петра московские стратеги считали Нарву ключом ко всей Ингрии и Невским устьям. Так вначале думал и Петр, почему и покусился прежде всего на Нарву. Теперь он думает иначе и строит свои расчеты по-новому. Осенью 1702 года он берет штурмом Нотебург и, не забывая

[1] Любопытно, что начальнику этого авангарда Апраксину Петр категорически запрещал разорять Ингрию: «Словесно вам говорено и в статьях положено, чтоб не трогать». Допуская разорение Лифляндии, царь Ингрию хотел сберечь для себя. Также пред вероятным взятием Риги, в 1709 году, он стал запрещать разорять и Лифляндию: «что разорят, то все приходится впредь нам же исправлять».

его старого новгородского имени «Орешек», называет его однако, новым именем «Шлиссельбург» (Ключ-город),[1] выражая этим мысль, что, захватив эту крепость, он овладел ключом к Ингрии и морю. Весь ноябрь 1702 года Петр провел в устройстве вновь приобретенного города, укреплял его поврежденные осадой стены, был «зело обремещен артиллерией неприятельскою» (было взято 150 пушек) и занят отправкою шведского «полона» в Москву. К январю 1703 года он был уже в Москве, затем отправился в Воронеж, а в марте был уже в Шлиссельбурге и начал поход к морю по Неве. 1 мая была взята шведская крепость Ниеншанц («Канцы») при впадении р. Охты в Неву. Ее положение не понравилось Петру: укрепление Ниеншанца слишком мало, и по характеру местности увеличить его невозможно; самый город далеко от моря. Петр решил искать в устьях Невы другого места для крепости и порта. И в том же мае была основана Петропавловская крепость, а под ее стенами город, который в первые дни назывался «Петрополем», а затем получил имя «Питербурха» или «Санктпетерсбурга». Таким образом все течение Невы было завоевано и укреплено. Но этим Петр не удовлетворился, а вышел из Невы в залив и на о. Котлине к началу навигации 1704 года создал «ситадель Кроншлот» и несколько батарей, под защиту которых поставил флотилию из судов морских типов, построенную к тому времени на Олонецкой верфи. Выросла, стало быть, цепь укреплений в занятом районе; взять их атакою в лоб шведам с моря было бы чрезвычайно трудно: приходилось брать четыре ряда укреплений: Кроншлот («ситадель» на фарватере), Петрополь, Канцы и Шлиссельбург. Возможность фланговых атак Петр та

[1] Петр писал «Шлютельбурх».

предвидел. Они и были: в 1703 году с севера угрожал русским на Неве шведский генерал Кронипорт, а позднее в 1704 году генерал Майдель. В нескольких столкновениях у самого Петербурга и на р. Сестре русские отбили атаки шведов. Но северное направление не особенно беспокоило Петра. На севере, в глухой Финляндии, не было крупных шведских сил. Главным театром военных действий в данный момент был южный берег Финского залива. Там действовали крупные отряды шведов; оттуда мог явиться сам король Карл. Предупреждая возможность шведского нападения с этого фронта, Петр тотчас же по взятии Ниеншанца, летом 1703 года, в самые дни основания Петербурга, уже двинул Шереметева в Нарвском направлении. Шереметев взял Копорье и Ямбург. Последней крепости придавали тогда большое значение оплота со стороны Эстляндии. Петр сам посетил Ямбург и приказал спешно его укрепить, «понеже великое дело в том состоит». «Работали, как наскорее, всеми солдатскими полками»; трудилось до 22.000 человек. Таким образом определилось, что с левого фланга защитою Ингрии будет течение р. Луги и на ней крепость Ямбург. Но военное счастье улыбнулось Петру: летом 1704 года русским удалось взять Дерпт и Нарву. Этим задача обороны Ингрии и Петербурга с запада и с юга была окончательно решена. Ямбург сыграл роль не оборонительного оплота, а базы для действий против Нарвы, прочно теперь захваченной Петром. Не так хорошо и гладко обстояло дело на правом фланге. В 1706 году Петр пробовал осадить Выборг, в котором он правильно видел опорный пункт для операций шведов против Петербурга. Осада не удалась. Она была повторена с успехом только в 1710 году. Выборг сдался, и Петр изобразительно определил значение своего успеха: «уже крепкая подушка Санктпитербурху устроена», писал он в одном из частных

своих писем. Действительно с этих пор Петербург мог быть спокойным за свое ближайшее будущее.

В таком виде представляется операция устройства в Ингрии укрепленного района с Петербургом в центре. Взятая в целом, эта операция и задумана и, исполнена мастерски. Каждый шаг в ней сознателен и обдуман; исполнение энергично и быстро. Ингрия завоевана прочно и послужила исходным пунктом для дальнейшего движения вперед. В центре завоеванной области создался город особого и многостороннего значения: в военном отношении Петербург главная защита магистрального русского пути из Московского центра на Запад;[1] в торговом отношении это главный русский торговый порт на Балтике; наконец, в политическом отношении это русский наблюдательный пункт на Балтийском побережьи, определяющий политику России в Балтийском вопросе и оттого ставший резиденцией русского правительства. Нет ничего случайного в создании Петербурга на Невских устьях: гениальный ум Петра понял значение этих устьев, сумел их добыть и укрепить, а затем и использовать. Во время Невской операции Петру было 30 лет; он был в расцвете сил и впервые творчески проявил эти силы в сложнейшем военно-политическом предприятии освоения Ингрии.

Вскоре после того как Петр стал твердою ногою на берегах Финского залива, ход военных действий дал ему

---

[1] Этот путь в XVII веке определялся так: «старою прямою дорогою от Орешка Ладожским озером... и Сясью и Тихвиной реками приезжают на Тихвину, а с Тихвины ездят к Москве и по городам»; «та дорога из-за рубежа к Москве старинная, прямая, а не объезжая: от Ладожского озера до Москвы 550 верст, а через Новгород до Москвы 760 верст». Но и Новгород по Волхову пользовался той же дорогою из-за рубежа: и для него Нева имела значение.

новый случай блеснуть воинским талантом. В 1705 году Петр ввязался в совместные действия с саксонскими войсками против Карла на территории Речи Посполитой. Совершив поход в Курляндию, русские войска стали на зимовку в Гродне. Но спокойно провести там зиму им не удалось. Карл XII под самый новый (1706) год внезапно выступил из Варшавы и приближался к Гродне. С обычной своей сметкой Петр сообразил, что Карл сможет блокировать русскую армию, если соединится с шведскими отрядами из Лифляндии и Польши, или же отрежет русским пути отступления к русской границе, если обойдет Гродну. Сейчас же Петр бросился из Москвы на место действия, а перед собою посылал письма своим генералам с указанием, что в случае успеха шведского марша «мы от единой нужды принуждены будем исчезнуть» и что поэтому необходимо скорее уходить из Гродны. Он много раз повторял свое мнение о необходимости отступления, вопреки мнениям бывших в Гродне генералов, и, наконец, дал прямой приказ отступать. Но было уже поздно: шведы переправились через Неман и обошли Гродну. Сам Петр не успел туда попасть, ибо пути уже были отрезаны. Убедившись в критическом положении своих войск и сообразив, что они не смогут уйти от преследования, Петр в то же время запрещал им вступать в открытый бой, так как не надеялся на успех такого боя с «непобедимыми» шведами. Тогда он порекомендовал своим генералам военную хитрость. Она была им изложена в письме к князю А. И. Репнину в Гродну от 2 марта 1706 года в таких словах: «Ни о чем, только о способном и скором выходе думайте, несмотря на артиллерию и прочие тягости, как я вам пред сим пространнее писал. [1] О выходе совет мой сей (однако ж

---

[1] Много раньше Петр писал: «Буде же изволите пожалеть пу-

и с вашей воли не сымаю): где лучше, изготовя мост чрез Неман и, кой час Неман вскроется, перешед при пловучем льду (для которого льда не может неприятель мосту навесть и перейтить) Неман и итить по той же стороне Немана на Слуцк... Однако ж надлежит при первом взломании льду поход учинить, прежде нежели малые речки пройдут (когда уже невозможно будет итить)»... В переводе на более понятный нам язык совет Петра сводился к тому, чтобы воспользоваться весенним ледоходом по Неману и в тот момент, как только начнется движение льда, перейти по заранее готовому мосту из Гродны на левый берег Немана и отступать возможно быстрее, пока шведы будут задержаны льдом при наводке пловучих мостов. Князь Репнин получил письмо Петра и исполнил его наказ в точности: в самую Пасху, 24 марта, при самом вскрытии Немана русская армия ушла из Гродны, бросив в реку все го, чего не могла увезти, и направилась на Брест к русским границам. Карл целую неделю не мог навести моста из-за льда и, упустив таким образом противника, ушел в Саксонию. Петр оценил такой результат, как своего рода победу и праздновал ее пушечным салютом и пиром, «а каковы были сему радостны и потом шумны», он обещал известить Меншикова особо.

Во всей этой Гродненской операции Петру принадлежала его обычная роль. Он не присутствует на месте самого действия, но отлично понимает обстановку. Он не только руководит действиями военачальников (хотя и не снимает с них воли — поступать по обстоятельствам), но и пытается помочь им всеми мерами и способами. Он на-

шек больших (которых ни пятнадцати нет), и за тем, для бога, не раздумывайте: мочно их в Неман кинуть». (Гродна находится на Немане).

правляет им на помощь отряды украинских казаков, которые должны доставить армии в Гродну через Брест провиант. Он устраивает в Слуцке «магазейн» и помещает там артиллерию и резервы. Можно удивляться тому, как ясно представляется его уму вся картина происходящей военной драмы и как верно он оценивает наиболее подходящий момент и способ спасения попавшей в ловушку армии. Его шифрованное письмо из Минска Репнину, цитированное выше, с указанием выхода из Гродны на Брест во время ледохода, является одним из самых наглядных доказательств его изумительного остроумия и стратегической гениальности.

Ознакомившись с этими свойствами Петра на примерах захвата Ингрии и освобождения армии из Гродны, мы легко уже поверим в то, что в кульминационный момент Шведской войны, именно в кампании 1708—1709 гг. Петр оказался на равной высоте с его «непобедимым» противником Карлом.

Конец 1707 и начало 1708 года были страшными днями для Петра. Карл ликвидировал войну в Саксонии и принудил Августа Саксонского, союзника Петра, к миру со Швецией и к отречению от престола Речи Посполитой. Карл в сущности стал верховным распорядителем в Речи Посполитой, так как держал в полной своей власти поставленного им на польский престол короля Станислава Лещинского. Со всей своей армией Карл стал было на зимовку на р. Висле, готовясь к походу на последнего своего врага Петра. Петр ждал Карла: «уже нам то подлинно известно (писал он), что сия война над одними нами осталась». Но для него было неожиданностью, что Карл начал поход среди зимы, в начале января 1708 года. С Вислы шведы пошли на Неман, к Гродне, и так быстро, что Петр сам едва ушел от шведского авангарда, выехав из Гродны

всего за два часа до вступления туда шведов. Из Гродны Карлу были открыты пути и в Лифляндию, и на Новгород, и на Москву, и в Украйну. После некоторого колебания он двинулся на Березину и Днепр и занял в июле Могилев. Думали, что он имеет в виду Смоленск, а за ним Москву, но Карл, как известно, в сентябре 1708 года ушел на зимовку в Украйну. Вся летняя кампания прошла у шведов при очень плохом питании. Отступая пред шведской армией, русские систематически истребляли и прятали провиант и угоняли население. Подвоза от шведских границ не было. Вспомогательный корпус Левенгаупта со всякого рода запасами не успел настичь главную армию, пока она держалась в Могилеве. Быть может, именно стесненным материальным положением следует объяснять некоторую вялость действий Карла. Большие расстояния, пустынность и разоренность края, сопротивление русских отрядов на речных переправах, присутствие русских главных сил на путях к Москве—все это у Карла отнимало уверенность, что шведы, голодая, смогут до зимы поспеть в Москву. Зимовать же в Украйне, конечно, было лучше, чем на верховьях Днепра: Украйна к тому же обещала изменить Москве и передаться на сторону Карла и Лещинского; Украйна сулила сытые и теплые квартиры и, наконец, (как доносил Петру из Голландии русский посланник) «швед надеется в вольном казацком народе собрать много людей, которые проводят его прямыми и безопасными дорогами к Москве». [1] Для Карла путь на Москву

[1] Тот же мотив в депеше датского посланника Грунда из Москвы: Карл, по совету Мазепы, думал итти из Украйны на Белгород и на р. Донец, чтобы поднять там бунт против Москвы (декабрь 1708—январь 1709 гг.).

стал представляться наиболее удобным именно через Украйну. В этом была его главная ошибка.

Всю летнюю кампанию 1708 года Петр провел без определенного плана действий, зорко следя за Карлом, уклоняясь от решительных столкновений и всячески стараясь затруднить врагу его передвижение и питание. Порча дорог, борьба за переправы, угон населения, уничтожение запасов—таковы обычные способы борьбы с русской стороны. Всякому решительному натиску врага уступать, но «смотреть на неприятельские обороты и, куды обратится (неприятель)—к Смоленску или к Украйне—трудиться его упреждать», то-есть опережать врага на всяком принятом им маршруте. Так шло дело до поворота Карла на юг, в Украйну. Когда же этот поворот определился, и Карл не стал ждать вспомогательного отряда Левенгаупта, а приказал ему себя догонять, у Петра явился план. Во-первых, он решился настичь Левенгаупта и действительно настиг его и разбил, отняв весь обоз и пушки; а, во-вторых, он решил сопровождать шведскую армию на Украйну параллельным маршем так, чтобы главные русские силы всегда находились между шведами и Москвой, прикрывая пути к русской столице. Таким образом осенью 1708 года театр войны был перенесен на Украйну, и Петр ждал решительных действий уже зимою: «не чаю (писал он), чтоб без генеральной баталии сия зима прошла; а сия игра в божиих руках, и кто ведает, кому счастье будет?»

Окончательная «игра» действительно началась зимою 1708—1709 года и окончилась в июне 1709 года поражением шведов. В оценке этой игры русские и шведские военные историки очень расходятся. Первые считают, что со времени зимовки на Украйне Карл потерял план действий. Действительно есть известие, что, отказавшись от наступления на Москву по прямой дороге от Смоленска,

Карл не сразу нашел новый план—похода на Украину—и сказал сам одному из своих приближенных (Gyllenkrok'y), что у него нет никакого плана («hade ingen dessein»). Но эта фраза имела значение лишь для одного момента раздумья и колебаний. А затем Карл твердо стал на мысли идти на юг и после зимовки (или отдыха) на Украйне предпринять оттуда марш к Москве. Шведские писатели точно знают, что этот марш имел в виду прежде всего дорогу на Курск и Тулу от Белгорода, так как шведы считали Белгород важным пунктом Московского юга, где сходились дороги с разных сторон и откуда можно было оперировать в различных направлениях. Белгород не раз упоминался в современных известиях о войне—шведских, датских, русских; все, следившие за ходом борьбы Петра и Карла, понимали значение этого города для обеих сторон. Тем удивительнее, что русские военные писатели в описании кампании 1708—1709 гг. мало обращали внимания на это обстоятельство и изображали пребывание Карла на Украйне, как медленную агонию шведской армии, окруженной русскими отрядами. У этой армии нет общего плана действий; Карл заботится лишь о том, чтобы обеспечить своим войскам необходимый для них покой; он занят главным образом тем, чтобы вывести свою армию, каким бы то ни было путем, из критического положения, в какое она попала. Карла покинула его обычная стремительность: он даже страдает отсутствием необходимой энергии. В таких условиях осада Полтавы явилась будто бы не исполнением плана, а случайным эпизодом: «Карл решается на осаду и взятие Полтавы для того, чтобы чем-либо блестящим занять армию». [1]

[1] Слова Н. Н. Михневича в его «Истории военного искусства». Они едва ли не основаны на словах фельдмаршала Реншельда.

Шведские историки, кажется, ближе к правильному пониманию дела. Как перед Гродненской операцией 1706 года Карл снялся с места среди зимы и начал поход против Петра, так он и в зиму 1708—1709 года в Украйне не оставался на зимних квартирах до весны. Боевая инициатива исключительно принадлежала ему. Целью его операций был выход на пути к Москве. Уже в декабре 1708 года он сделал первую попытку наступления по линии р. Пела, чтобы выйти на тот важный узел дорог, который был на севере от Белгорода, на верховьях Пела и Ворсклы. Но здесь он встретил крепости (Веприк) и главные русские силы. Ему не удалось использовать быстроту и внезапность движения, и он остановился, но лишь для того, чтобы несколькими неделями позже броситься южнее, обойти русских слева, взять Белгород и выйти на магистральный путь к Москве, «Муравский шлях». Скорый марш короля на Опошню и Красный Кут в феврале 1709 года был задержан русскою конницей, а затем внезапной оттепелью и паводком. И на этот раз королю пришлось отойти назад, за Ворсклу, на ее высокий правый берег. Новую попытку, последнюю и самую рискованную попытку овладеть упрямо намеченною операционною линиею на Москву, Карл делает в направлении Полтавы и того же Муравского шляха. На этот раз дело приходит к несчастной для него развязке. Шведская армия, усталая и поредевшая от голодовок и холодов суровейшей зимы, лишенная боевых запасов в сколько-нибудь достаточном количестве, к лету 1709 года уже не представляла собою той неодолимой мощи, какою была в предыдущие кампании. Ей не под

что в осаде Полтавы Карл «хочет иметь amusement». Но Стилле (стр. 181) разъясняет, что на военном языке того времени «amusement» значило «демонстрация», а не «забава».

силу стали безумно смелые планы ее короля. Когда Петр учел это, он отважился нанести ей решительный удар. На Воркле, у Полтавы окончилась «игра» двух вождей, и гаданье Петра, «кому счастье будет», оказалось удачливым: счастье выпало ему. [1]

Но это не было слепое счастье. Выше было сказано, что Петр уклонялся от решительных столкновений с врагом, следил за его движениями и старался держать свои главные силы между шведской армией и Москвой на главных путях к столице. Оба войска двигались параллельно, с верхнего Днепра в Украйну, и этот марш, руководимый самим Петром, русская армия совершила вполне удовлетворительно, не только не отставая от шведов, но ни на миг не покидая их без наблюдения и окружая их конными разведочными отрядами. Когда обозначился в Украйне район, занятый шведами для «зимовья» на р.р. Суле и Псле, Петр обставил его со всех сторон разведчиками, а главные силы расположил в Сумах и Лебедине на путях, которые вели с Украйны в центр Московского государства. Попытка Карла через Красный Кут достичь Белгорода очень озаботила Петра. Тенденция шведов двигаться на восток была ему, конечно, известна; но повидимому только в этот момент, в феврале 1709 года, Петр действительно поверил в возможность сильного удара на Белгород и испугался не столько за Москву, сколько за Воронеж. Из Белгорода путь к Воронежу не был труден:

[1] Обстоятельнее мой взгляд на кампанию 1709 года я изложил в статье «К истории Полтавской битвы» («Русская Старина», 1909 г., январь, и мои «Статьи по русской истории», изд. 2-е, стр. 435 и след.). Мое понимание дела совпало со взглядами шведских историков; особенно в помянутом выше труде Стилле много данных, оправдывающих мой взгляд, почему я и решаюсь держаться его вопреки возражениям военных историографов.

верхнее течение р. Оскола на этом пути не могло служить серьезным препятствием. Поэтому, как только обозначилось движение Карла в сторону Белгорода, Петр переместил свою армию от Сум к Ахтырке и к Белгороду, сам же бросился в Воронеж, чтобы поторопиться со спуском на воду строившихся там кораблей и чтобы распорядиться увозом хлебных запасов с Коротояка. Петру не казался вероятным поход шведов именно к Воронежу: «хотя, чаю, се обман есть (писал он), однако ж, что опаснее (осторожнее), то лучше». С чрезвычайной осмотрительностью Петр предусматривал все возможные, хотя бы и мало вероятные последствия взятия Белгорода Карлом, и это свидетельствует нам о том, с какою чуткостью и сознательностью вел он дело обороны. В феврале 1709 года он еще боится столкновений с главными шведскими силами; к лету же в его руках уже есть точные данные об ослаблении шведской армии и о недостатке у нее боевых припасов. Кроме того все ненадежные элементы в тылу русской армии, именно казаки в Запорожьи и на Дону, к тому времени были ликвидированы. Петр считает, что наступил перелом в соотношении враждующих сторон и что наступила пора взять инициативу в свои руки. В июне он начинает сближаться с шведской армией, переходит на правый берег Ворсклы на выручку осажденной Полтавы и этим вызывает шведов на бой. Результатом была гибель всей шведской армии. Предусмотрительность и осторожность до самой развязки, точное и чуткое определение момента для решительного удара, умелое руководство не только военными операциями, но всем тылом армии, всеми источниками ее довольствия и снабжения, — все это дело личного таланта и личного труда самого Петра. По его переписке видно, что он в центре всех отношений, во главе всех предприятий, что в нем Карл имеет сопер-

ника не равной стремительности и отваги, с одной стороны, но и не одинаковых духовных свойств, с другой. Петр по характеру сложнее Карла (он к тому же и старше); его организаторская способность выше; круг его интересов шире. Карл великолепный тактик, Петр глубокий стратег и государственный хозяин. В период Полтавской операции Петр уже в полном расцвете своих громадных душевных сил.

VIII. ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ПОСЛЕДНЕМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ.

Петр в Западной Европе. Поездка в Париж в 1717 г. Жизнь в Невском «парадизе». Личные свойства Петра, как деятеля.

Полтавская битва, знаменовавшая собою для Швеции проигрыш войны, была поворотным пунктом и лично для Петра. Дальнейший ход военных действий и политических отношений повлек его в Западную Европу. Россия оказалась деятельным членом среднеевропейской коалиции против Швеции. Русские войска постоянно передвигались по Германии и Польше; русский флот плавал в южной части Балтийского моря. Сам Петр колесил по Германии, лечился в Карлсбаде; вел переговоры в Берлине и Дрездене; смотрел войска и флот в Померании и Дании. Через Гамбург ездил он в Голландию; с политическою целью посетил даже Францию. Он вышел лично на широкую политическую арену, развернулся во всю ширь своей деятельной натуры, обнаружил вполне свои способности и знания. В последние 15 лет его жизни о нем много говорили и писали при европейских дворах; поэтому есть возможность восстановить наиболее характерные черты его личности в последней фазе ее развития.

Современники, которые встречали Петра в эти годы, все согласно признавали в нем исключительную натуру и удивлялись его уму и разнообразным познаниям. Датчанин Юст Юль, наблюдавший Петра втечение двух лет по своей дипломатической службе, «удивлялся, с одной стороны, уму этого человека, правящего всем самолично, а с другой—природными его силами, благодаря которым он без утомления выносит все заботы и труды». Многое в Петре Юсту не нравилось; но он признает, что «царь храбр, рассудителен, благочестив, [1] поклонник наук, трудолюбив, прилежен и поистине неутомим». Простой капитан шведского корабля, видевший Петра на своем фрегате, был сразу поражен «изумительной точностью» технических сведений царя. В Париже в 1717 году царь также изумлял всех своей любознательностью и разносторонней осведомленностью. «Монарх этот (писал о Петре герцог Сен-Симон) удивлял своим чрезвычайным любопытством, которое постоянно имело связь с его видами по управлению, торговле, образованию, полиции. Любопытство это касалось всего, не пренебрегало ничем и в самых мелких своих чертах имело в виду пользу; любопытство неослабное, резкое в своих обнаружениях, ученое, дорожившее только тем, что действительно стоило внимания: любопытство, блиставшее понятливостью, мягкостью взгляда, живою восприимчивостью ума. Все обнаруживало в царе чрезвычайную обширность познаний и последовательность стремлений». По отзыву маршала Вильруа, «этот государь мнимый варвар, вовсе не походит на такового».

[1] Несмотря на свое кощунство со «всешутейшим собором», Петр был набожен и любил посещать богослужение. В 1721 году «il fait ses dévotions plus attentivement qu'a l'ordinaire avec des Mea culpa, génuflexions et beaucoup de baisers en terre» (Ле-Форт).

Отношение Петра к культурным и техническим диковинкам Парижа было действительно не поверхностным, а серьезным. Он внимательно изучал самые разнообразные учреждения: арсенал, монетный двор, фабрики и заводы, типографии, ботанический сад и «аптекарский огород», анатомический театр, обсерваторию, кабинеты математические, физические, механические. Он смотрел химические опыты и медицинские операции; все примечательное записывал и зачерчивал и, по своему давнему обычаю, все норовил испробовать сам, своею рукою. Обаяние его личности действовало неотразимо на тех, кто мог видеть его близко, и все поражались его знаниями, быстротою усвоения, ненасытною любознательностью, серьезным достоинством и непринужденностью, с какими он подходил ко всякому делу. Он не развлекал себя, а учился и исследовал, не стесняясь обстановкой и условностями этикета. Большой знаток военного дела и воинских экзерциций, Петр однако не досмотрел парадного смотра французской гвардии, потому что нашел его не серьезным: «я видел нарядных кукол, а не солдат», признался он, приехав домой. Точно так же едва взглянул он на коронные королевские бриллианты, ибо не считал их делом. Не дослушал он и оперы, которою его думали увеселить и которая очевидно не входила в его вкусы.

В эти годы политического торжества и постоянного пребывания в международном обществе династических особ, их придворных и дипломатов, Петр приобрел уверенные манеры и непринужденность обращения. Но это не была благовоспитанность в европейском смысле слова. У Петра так и не образовалось ни изысканных манер, ни выдержки. До самой смерти он оставался грубоватым и бесцеремонным человеком и не желал сдерживать свои настроения и чувства. Его всегда стесняла большая свита,

светское общество, роскошные залы, парадный стол. Он с трудом исполнял требования этикета и норовил их избежать или просто нарушить. В 1712 году в Берлине ему приходилось тяжко от необходимости соблюдать известный церемониал; он его выдерживал не сполна. Так, дав королю Фридриху I обещание обедать с ним, он нашел возможным не сдержать слова и уйти есть к себе. Но зато вместо парадного обеда ему пришлось принять в тот же день парадный ужин, и он провел его как должно: вел королеву к столу (надев предварительно грязноватую перчатку), за столом разговаривал с дамами совершенно непринужденно, обходился без нечленораздельных звуков и не ковырял в зубах.[1] После ужина он проводил королеву до ее покоев, как вежливый кавалер: но тут его более не хватило: на просьбу королевы освободить из плена шведского генерала Реншильда он ответил ей прямым отказом и, оставив ее, без церемоний ушел к королю. В 1716 году та же грубоватость сказывалась у Петра и в Дании. Датский король находил Петра бесцеремонным и назойливым и с своей стороны не вполне с ним стеснялся. Поэтому Петр считал возможным бросать ему в лицо обвинения в беспорядочности и мотовстве, и королю Фридриху приходилось терпеть грубоватые, но в существе справедливые уколы Петра. В один из дней пребывания Петра в Копенгагене произошло такое событие, характерное для обоих монархов. Фридрих пригласил Петра на комедию в придворном театре; царь сказал, что он еще увидит, сможет ли притти. Комедию отменили, вероятно потому, что сочли слова царя невежливыми. А между тем к 9 часам вечера царь пришел в королевский замок, чтобы смотреть комедию, и узнав, что она не идет, пожелал по-

[1] «Il n'a ni roté, ni peté, ni ne s'est curé les dents».

говорить с королем. Один из датских придворных, встретивших царя на дворе замка, взял его под руку и повел вон, вежливо говоря, что «король его повелитель уже спит». Когда Петр спросил, куда его ведет придворный, тот объяснил, что хочет проводить царя в его покои. Но Петр возразил, что не намерен итти к себе, повернул назад, вошел в замок к королю и застал короля не спящим, а одетым и в обществе его министров. Нельзя сказать, чтобы монархи в этот день были взаимно любезными; современники отметили, что Петр почувствовал себя сильно оскорбленным, хотя будто бы король и ухаживал за ним.

Пребывание Петра во Франции в 1717 году также сопровождалось рядом неловкостей и выходок, шокировавших французов. С самого появления своего на французской почве, в Дюнкирхене, царь показал себя сразу же нравным и раздражительным; он плохо слушался указаний приставленного к нему камер-юнкера де Либуа, почему, например, едва не был захвачен морским приливом и спасся только верхом на лошади, погубив карету, в которой ехал. Он не хотел пользоваться предназначенными ему остановками в городах, а останавливался, где сам хотел. Он не пожелал ехать в крытых придворных экипажах, а к удивлению французов спроектировал свой, приказав поставить кузов одноколки на каретный ход («дрожины»), и таким образом познакомил французов с русским тарантасом. Причуды и капризы Петра, не стеснявшего себя в дороге, заставляли де Либуа жаловаться своему правительству. Он не раз доносил, что царь необычайно подвижен, нетерпелив, вспыльчив и взыскателен, переменчив в своих удовольствиях и прогулках и потому «assez difficile à servir». Добравшись до Парижа, Петр в первые же минуты своего пребывания там оказался неудобным гостем. Его вечером

привезли прямо в Лувр, где для него был приготовлен стол и ночлег. Царь полюбовался роскошными комнатами дворца, посмотрел на убранный стол, но ужинать не сел, а только на ходу выпил и закусил и потребовал чтобы его отвезли в частный дом, приготовленный для царя и его свиты на тот случай, если бы царь пожелал соблюдать incognito. Напрасно от имени короля и его регента упрашивали Петра сесть за стол и провести первые сутки во дворце. Он настоял на своем, проехал в отведенный ему дом и там лег спать в маленькой комнатке, предназначенной для его слуги. Как в этот вечер Петр откровенно требовал, чтобы его не стесняли, так и во все последующее время пребывания в Париже он ставил то же требование. Церемониал официальных визитов он проделал удовлетворительно, потребовав, однако, чтобы регент Франции и маленький король посетили его первые. Во время визитов царь держал себя «с видом превосходства» («avec un grand air de supériorité»), но не выдержал серьезного тона при прощании с семилетним королем Людовиком XV. Он подхватил короля на руки и ласково держал его в своих могучих объятиях. Об этом эпизоде Петр затем писал жене своей Екатерине: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний королище, который пальца на два более Луки нашего (карлика), дитя зело изрядная образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, которому семь лет».

Отделавшись от официальных визитов и представлений, Петр принялся за изучение Парижа и его окрестностей, причем не стеснял себя в передвижениях по городу. Иногда он скрывался от своих официальных проводников и не задумывался перед тем, чтобы сесть в чужой экипаж и направить его по своему маршруту. Так он уехал в Булонский лес в карете одной дамы, которая приехала к его

дому посмотреть на царя и должна была поневоле итти домой пешком. Визитами царь не считался ни с кем и мало оказывал внимания даже особам королевского дома. В своем обычном костюме он и не годился для салонов, так как не носил ни манжет, ни кружев на рукавах, ни галстуха на шее, ни пышного парика на голове, ни благородной шпаги. Его наряд был нарядом профессионала-солдата, привыкшего к походной жизни и вооруженного тяжелым кортиком. В общем, французы признали такой наряд не культурным («habit du farouche»), так же, как и внешние манеры царя. От невнимания Петра, при случайной встрече, герцогиня де Роган даже ударилась в слезы, а муж ее назвал при этом Петра «животным» («Eh, qu'aviez-vous, madame, à attendre une honnêteté de cet animal-là!»). Такого рода эффекты ни мало не смущали царя. На грубость герцога де Рогана не Петр, а один из свиты Петра ответил герцогу бранью; на претензии других представителей французской знати, желавших посетить царя при условии, что он им отдаст визит, Петр отвечал добродушным советом, чтоб они сидели дома. Интересы Петра лежали далеко от праздных сфер светского Парижа. В ученых и технических учреждениях он, напротив, чувствовал себя, как дома: всем интересовался, охотно вступал в разговор на самые различные темы, начиная с мелочей того или иного производства и кончая вопросами точной науки, и делом соединения церквей. Когда речь заходила о вещах, мало ему понятных, Петр откровенно заявлял, что в данном деле он не сведущ, и указывал на то, что ему приходилось все время уделять на дела управления и войны. Когда же этот мало воспитанный и грубоватый «солдат» попадал по необходимости в общество, он подтягивался и держал себя вполне прилично, хотя и не по-светски. Тех черт робости и дикости, какими отличался Петр в моло-

дые годы, теперь в нем уже не было. Скорее он казался самоуверенным и слишком развязным. В Версали он даже позволил себе что-то вроде оргии, вспомнив по многолетней привычке обычное служение Бахусовой и Венусовой потехе.

В таком же виде представляется Петр и у себя дома в последние годы его жизни. Это прежде всего трудолюбивый администратор-хозяин, богатый правительственным опытом и самыми разнообразными практическими познаниями. Около него, в Невском «парадизе», в новой столице, уже образовался «двор»—некоторое количество придворных чинов обоего пола и круг семей, составлявших высшее придворное общество. При этом дворе жили даже политические паразиты, вроде Голштинского герцога Карла-Фридриха с его свитой, которому «Санкт-Питербурхское комиссарство Соляного правления» ежемесячно выплачивало из «кабинетной и соляной суммы» по 3.000 рублей «на содержание его кухни». [1] Новый двор имел свои церемонии и празднества, на которых Петр являлся парадно одетым и серьезным распорядителем и блюстителем этикета и порядка. Бывали и официальные увеселения, в которых вместе с двором принимали участие гвардейские полки, чиновничество и дворянство. Такие увеселения иногда захватывали весь город, обязательно плававший в шлюпках по Неве или ездивший по улицам в маскарадных процессиях. Петр был душою таких увеселений, следил за их порядком, не допускал уклонений от обязательного веселья, штрафовал уклонявшихся. Втечение года исполнялся этот круг парадов, праздников и процес-

[1] Этот герцог сватался за дочерей Петра и получил руку старшей, Анны. От этого брака произошел император Петр III.

сий, как нечто строго установленное, дополнявшее деловую жизнь правительства и руководящих сфер.

Правительственная работа и отбывание общественных «обязанностей» не исчерпывали времени и интересов Петра. Он попрежнему жил, мало стесняясь обстановкой и людьми, в привычном ему простом обиходе жизни, руководясь издавна усвоенными мало-культурными привычками и вкусами. По утрам он ходил в плохом старом халате из простой китайской нанки; затем одевался «смотря по удобству», во что пришлось, и шутливо хвалился своим щегольством если надевал манжеты, обшитые жалкими кружевами шириною пальца в два. Обычно же он обходился без всяких украшений, даже не носил обязательного в ту эпоху парика; если же считал необходимым его надеть, то обрезывал по своему вкусу и достигал этим большого уродства. Однажды же он поступил еще с большей оригинальностью: на именинах его любимца Меншикова (30 августа), когда в саду к вечеру стало очень холодно и у Петра озябла голова, он прикрыл ее, при всем народе, снятым с чужой головы париком; при этом он не подумал, что на свою темную голову положил белокурый парик. Как в одежде, так и в пище Петр был неприхотлив, хотя и обладал определенными вкусами. Он не любил рыбы, даже будто бы «рыбы никогда не кушал»; также не ел сладкого, очень любил фрукты и овощи, особенно огурцы и лимоны соленые, «да отменно жаловал лимбургский сыр». Есть он любил в малой компании, у себя дома, без посторонних, даже без прислуги, и заставлял служить себе за столом «дневальных деньщиков» (то-есть дежурных адъютантов). Большие парадные столы его стесняли. О[illegible] не всегда даже садился на первое место, ему, как монарх[illegible] принадлежавшее, а притыкался, где попало. На торжеств[illegible]ном, например, обеде при спуске корабля он помещ[illegible]

«на самом нижнем конце стола вместе с корабельными мастерами»; то же он сделал на собственных именинах в 1723 году: вечером в Летнем саду он уселся за столом иностранных шкиперов, которые и «толковали с ним безо всяких церемоний». А на свадьбе Головкина с Ромодановской Петр принял на себя должность «маршала» (распорядителя) и, воспользовавшись этим, даже вовсе не сел за парадный стол, а, отойдя к буфету, кушал там стоя, с большим аппетитом и просто руками. Он говаривал, что долгое и чинное сиденье за столом выдумано в наказание большим господам. Пил Петр много, но отнюдь не был пьяницей; для него вино и водка не составляли болезненной потребности. Он, что называется, любил кутнуть, споить других и сам выпить; но есть много указаний на то, что он поддавался вину еще менее, чем другие, и редко доходил до больших степеней опьянения. За то спаивать других было его страстью во все периоды его жизни. Обычно он, усадив гостей, запирал двери зала и запрещал кого бы то ни было выпускать с пирушки; сам же среди пира уходил отдыхать, а затем возвращался, чтобы, так сказать, доканать пирующих. Он прибегал даже к прямому насилию, чтобы привести в бесчувствие свою жертву. Когда Юст Юль скрылся от Петра на мачту корабля и уселся на такелаже, то царь сам полез к нему по снастям со стаканом в зубах и напоил его так, что тот едва мог спуститься вниз. Нечего поэтому удивляться тому, что Юст Юль, не любивший пить, через три недели после этого случая во хмелю обнажил шпагу, отбиваясь от угощения, и нагрубил самому Петру. Так как это сделала дипломатическая персона (Юль был датским посланником при Петре), то мог произойти серьезный казус, однако на следующий день царь и дипломат просили друг у друга прощения, ибо «о случившемся знали только от других», по словам Петра.

Чрезвычайная подвижность Петра сказывалась в его манере быстро ходить и ездить. Его длинные ноги делали такие быстрые и широкие шаги, что сопровождающие его постоянно должны были следовать за ним бегом. Ездил он не в тяжелой карете, так как, по ироническому замечанию одного современника (Берхгольца), «бедный император не имеет своего собственного цуга (то-есть шестерни)». Он разъезжал на паре обычных лошадей в маленькой легкой двуколке, притом носился во весь дух, не зажигая по вечерам фонарей, но иногда имея перед собой двух верховых. Верхом он любил ездить на лошадях малорослых, «для удобства»; но в торжественных случаях езжал верхом на «превосходном гнедом коне», на котором был шитый золотом зеленый бархатный чепрак и богатое седло, чего (прибавляет очевидец) «никто не привык у него видеть». Втечение дня Петр обычно успевал побывать во многих местах, по делу и с бездельем, и не оставался подолгу без далеких поездок. Он снимался очень легко из своего «парадиза» в поездки не только по окрестностям «Питербурха», но и в далекие походы. Даже тогда, когда его последняя болезнь (камни) стала принимать тяжелую форму, он все-таки не отказывался от первого же предлога куда-нибудь ехать. Так, всего за четыре месяца до своей кончины 9 октября 1724 года, он выехал в Шлиссельбург «на торжество (годовщины) Шлютельбурхского взятья», оттуда поехал в Ладогу и Старую-Руссу; 27 октября вернулся вечером в Петербург, а 29-го по утру уже «изволил путь свой взять в Дубки водою», к Сестрорецку. Там через два дня он перенес жестокую бурю, отстаиваясь на двух якорях; при этом одно из сопровождавших его суденышек погибло, и сам Петр добыл простуду, участвуя в спасении погибавших солдат. 2 ноября Петр вернулся в Питер с тем, чтобы больше уже из него не выезжать; но и больной,

он продолжал двигаться по городу и участвовать в ассамблеях и иных собраниях, давая ход обычному своему глумливому юмору. В официальном журнале Петра читаем под 9 января 1725 года: «Была свадьба деньщика его величества Василья Поспелова слуги Мишки на гудошнице Настасье, на которой присутствовали его императорское величество и ее величество государыня императрица и многие знатные особы; и для той свадьбы собраны были все гудошники». А на следующий день, 10 января, Петр «после кушанья изволил быть на родинах и крестинах у помянутых женившихся (Мишки и Настасьи)». Через неделю Петр уже слег, а еще через полторы «представился в своей конторке». В последние годы Петра, надо заметить, его обычная шутливость и подвижность иногда сменялись задумчивостью и вялостью. Он часто прихварывал и любил лечиться, пил воды и принимал разные «лекарства». [1] Очевидно организм его, могучий от природы, рано начал сдавать от излишеств и тревог.

Время широкого размаха внешней политики и напряженной административно-законодательной работы не упразднило шутовских учреждений Петровой молодости и не смягчило грубой жестокости его расправ. «Всешутейший собор» и «неусыпаемая обитель» продолжали действовать до самой смерти их изобретателя. Всего за несколько дней до приступа последней болезни, в начале января 1725 года, Петр был занят «чином нового избрания» всепьянейшего князь-папы и всю ночь с пятницы, 8 января, на субботу, 9-го, пробыл в «конклаве», производившем избрание

[1] Иногда эти лекарства бывали очень странны: 15 июня 1714 года Петр «принимал лекарство, мокрицы и черви живые истолча, и кушал дома»; на следующий день тоже «принимал мокрицы и черви, и кушал дома и был весь день дома».

с соблюдением всех церемоний шутовского «чина». [1] Некоторые члены «всешутейшего собора» были в особом приближении у Петра и пользовались его неизменным расположением. Таков был, например, типичный в своем шутовском роде, для нас мало постижимый человек, по имени Стефан, по прозвищу Медведь, исполнявший в «соборе» роль «посошника» князь-папы, носивший папин посох даже по городу, как «машину, сделанную в виде колбасы». Его кличка в составе собора была «Вытащи», и именно под этою кличкой («Vittaschy», «Witaschy») он стал известен иностранцам, считавшим его и шутом, и «кнутмейстером» (палачем). Он постоянно пребывал при царе, иногда даже посещавшем его дом, постоянно играл с царем в шахматы, сопровождал царя в заграничных поездках и повидимому ездил с ним в Париж. Когда он, будучи с Петром в 1722 году в Олонце, упал с лестницы, сломал себе ребра и умер, то Петр участвовал в его вскрытии или, как тогда выражались, «смотрел анатомии». По смерти этого Степана «всешутейший собор» избрал нового «Вытащи.» В лице Степана Медведя, соединялись обязанности шута и палача, как в лице самого Петра уживались наклонности к веселому юмору и мрачной жестокости. Сохранились свидетельства того, что Петр в одно и то же время мог вести кровавые следствия с пытками и казнями и отдаваться беззаботному веселью. В июне 1718 года его дни делились так: 26 он был в каземате своего сына царевича Алексея, осужденного на казнь, и царевич в тот день к вечеру

[1] Относящиеся сюда подробности, часто совершенно непристойные, можно уразуметь из монографии М. И. Семевского «Петр Великий, как юморист» (в его книге «Слово и Дело», 1885). Печатается моя статья о «Великобританском» филиале «всешутейшего собора», из иностранных купцов, лекарей и ученых, существовавшем много лет в Петербурге.

отдал богу душу; 27-го Петр, посетив крепость, где лежало тело сына, праздновал годовщину Полтавской победы, и в саду его величества «довольно веселились» до 12 часу ночи: 29-го, в день именин Петра, веселье повторилось: был обед во дворце, на верфи спустили большой корабль работы самого царя, причем много пили; ночью сожгли фейерверк, и общее веселье продолжалось чуть не до утра; а на другой день, 30-го, хоронили царевича Алексея; царь и царица «соизволили с телом царевичевым проститься и оное целовали», и после похорон присутствующие были «довольствованы в поминовение оного обыкновенным столом». Подобное же чередование мрачных и светлых картин видим позднее, в последние месяцы жизни Петра. Ноябрь 1724 года начался при дворе следствием над камергером Монсом, которого царь заподозрил в любовной связи с царицей. Монса и его близких обвинили в преступлениях по службе и 16 ноября Монсу отрубили голову. А 22-го двор уже праздновал помолвку дочери Петра Анны с Голштинским герцогом, и начались «великолепные концерты» и пиры в честь молодых, и по случаю именин императрицы (24 ноября) и по случаю праздника ордена Андрея Первозванного (30 ноября), причем современники отмечали, что царь был в эти дни «очень весел». А тело Монса на Троицкой площади лежало на колесе, и при дворе шептались об истинной причине гибели казненного красавца.

Таков был тот жестокий век, в котором жил и воспитался Петр. Еще не было на свете Цезаря Беккариа, еще существовала во всей силе общая вера в устрашение жестокими казнями, как в единственное действительное средство борьбы с преступностью. И Петр глубоко верил в это средство, считая себя обязанным его применять для пользы управляемого народа. С этой точки зрения он

иначе расценивал жизнь отдельного человека, чем ценим ее мы, и считал не только позволительным, но и похвальным истребление преступников и негодяев. Для него казнь была самым обычным делом тогдашнего правосудия, и сам он, как верховный его представитель, легко лишал жизни людей, по его мнению, провинившихся. Один из дипломатов, аккредитованных при Петре, сообщал в 1721 году о таком случае: царь уследил своими глазами, как вороватый солдат, утащил с пожарища церкви сплавившийся кусок медной крыши, и за то попотчивал его своею дубинкою. «Я не знаю отчего (писал дипломат): или трость была очень тяжела, или удар пришелся в такое место, но только несчастный на месте умер». Конечно, это была несчастная случайность, но можно быть уверенным, что Петр не почувствовал себя виноватым убийцей и не пожалел своей случайной жертвы. Не кровожадная жестокость руководила им, а сознание необходимости и целительности наказания, и если оно не исцелило, а казнило преступника, то это в глазах Петра простой случай, по существу не важный. Кажется, именно этот случай необыкновенно сильно повлиял на представление о Петре художника В. А. Серова. По сообщению И. Э. Грабаря, Серов страшился Петра: «Воображаю (говорил он), каким чудовищем казался этот человек иностранцам и как страшен был он тогдашним петербуржцам. Идет такое страшилище, с беспрестанно дергающейся головой, увидит его рабочий, и хлоп в ноги. А Петр его тут же на месте дубинкой по голове ошарашит: «Будешь знать, как поклонами заниматься вместо того, чтобы работать!» У того и дух вон. Идет дальше, а другой рабочий, не будь дурак, смекнул, что не надо и виду подавать, будто царя признал, и не отрывается от работы. Петр прямо на него и той же дубинкой укладывает и этого на месте: «Будешь знать, как царя

не признавать... Страшный человек!» Это—глубоко неверное представление о внутреннем существе Петра. [1] Петр был груб, даже очень груб и крут, но он не был кровожадным самодуром. Гораздо правильней изображение характера Петра у его «ученика» И. И. Неплюева. Провинившись однажды по службе, Неплюев не решился оправдываться перед Петром, ибо знал, что тот уверток не любит, и потому прямо и откровенно повинился. Царь (рассказывает Неплюеев), «взяв меня за плечо, пожал, а я вздрогнулся, думая, что (он) прогневался». Но царь не прогневался: «Спасибо, малый, что говоришь правду! Бог простит! Кто бабе не внук!» Такими словами ограничился Петр, готовый рассердиться, но смягченный «правдой». В старости тот же Неплюев, сравнивая свое поколение с последующими, с гордостью говорил Екатерине II: «Нет, государыня, мы—Петра Великого ученики, проведены им сквозь огнь и воду, инако воспитывались, инако мыслили и вели себя; а ныне инако воспитываются, инако ведут себя и инако мыслят; итак я не могу ни за кого, ниже за сына моего ручаться». Другой «ученик» Петра, известный В. Н. Татищев с таким же чувством гордости вспоминал время Петра, говоря, что все, чем он обладает, он получил от Петра, «и главное надо всем—разум». Такие воспоминания не оставляют после себя люди, способные только на злую жестокость и слепой произвол. Страшный в своем

[1] Игорь Грабарь. «В. А. Серов. Жизнь и творчество». М., 1913. стр. 248—249.—Нельзя разделять представления Серова и о внешности Петра: «Он был страшный: длинный, на слабых, тоненьких ножках и с такой маленькой, по отношению ко всему туловищу, головкой, что больше должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головой, чем на живого человека. В лице у него был постоянный тик, и он вечно кроил рожи: мигал, дергал ртом, водил носом и хлопал (?) подбородком...» Из всех изображений Петра удался Серову только «Кубок большого орла».

гневе и в своих болезненных припадках, Петр искупал этот страх уменьем примириться, даже покаяться и приласкать потерпевших. А вне этих ощущений страха впечатления от личности Петра могли быть высокого порядка: он казался образцом ума, работоспособности и сознания долга.

Отложив, что следует, на долю несчастного детства и плохого воспитания, общего влияния грубой эпохи и дикой среды, озлоблявших условий семейной и политической борьбы, что мы получим в остатке для оценки личных свойств Петра?

Прежде всего необыкновенное богатство природных способностей Петра сразу же вызывает невольное удивление всякого, кто знакомится с ним. Его руки умеют делать буквально все, за что он ни возьмется, от тяжелой работы топором до тончайших упражнений на сложных токарных станках. Его глаз быстр и верен; он наблюдает быстро и точно. Его ум всеобъемлющ, хотя и не склонен к отвлеченностям; отличительное его свойство — уменье одновременно работать над многими разнородными предметами и притом с одинаковым вниманием и успехом. Дела текущего управления, крупные и мелкие; вопросы законодательства; редакция законоположений, отчетливая и мелочная, не лишенная юридической точности и ясности; технические вопросы кораблестроения; шутливая переписка, дипломатические аудиенции,—все это проходит непрерывным потоком через деловой кабинет Петра, во всем он быстро осваивается и сразу делается хозяином положения. Упорный в серьезном труде, он с охотою, когда только возможно, вносит в него шутку. Эта склонность к чередованию углубленной работы с забавой и смехом явилась у Петра в молодости—от избытка сил, которых хва-

тало на все, от «радости жизни», которой была богата его сильная и нервная натура.

Затем—с самых молодых лет Петра сказывалась у него живая, можно сказать, страстная любовь к знанию, глубокое влечение и интерес ко всем отраслям науки. Математика и техника, астрономия, естествознание, медицина, география и картография—равно пользовались вниманием Петра. Всюду, куда бы он ни приезжал в своих европейских поездках, он устремлялся прежде всего на источники знания и искал сближения с представителями наук, посещал их в их кабинетах и лабораториях, осматривал музеи, искал «раритетов» и «куриозите». Для него чрезвычайно характерна та надпись, своего рода девиз, которую он вырезал на своей печати: «аз есмь в чину учимых и учащих мя требую». Он действительно всю жизнь «требовал» учения и верил в его силу.

В связи с этим свойством было другое: привычка и любовь к труду, точнее—к деятельности. Петр по своей натуре не знал бездействия и скуки, с ним сопряженной. На труд он смотрел, как на необходимое условие благоденствия общественного и личного, требовал работы от других и сам давал пример: «Последуя слову божию, бывшему к праотцу Адаму, трудимся, что́ чиним, не от нужды, но доброго ради приобретения», писал он. Неплюеву он говорил: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все оттого: показать вам пример». Пример, конечно, производил впечатление: известен отзыв о Петре олонецких мужиков, вспоминавших о пребывании царя в их краю: «вот царь—так царь! даром хлеба не ел, пуще батрака работал». Читая в записках современников, видавших Петра только на людях, о его разъездах и развлечениях, мы не представляем себе, как напряженно он работал в свое трудовое время. В особенности трудно прихо-

дилось ему потому, что он не много находил достойных его самого талантливых сотрудников. В интимных беседах он жаловался, что с самого вступления своего во власть он почти не имел помощников и поневоле заведовал всем сам. Только в исходе Шведской войны, при лучших своих полководцах Шереметеве, Голицыне и Репнине, он признал их воинские таланты и сказал: «дожил я до своих Тюреннов, но Сюллия еще у себя не вижу». Действительно в сфере гражданского управления при Петре не выявилось ни одного сколько-нибудь равного Петру администратора, и творческая работа лежала на нем самом.

Трудовая жизнь Петра и близкое знакомство с делом управления выработали в Петре одно ценнейшее качество, которое иначе нельзя назвать, как строгою честностью. Он любил правду и ненавидел ложь, обманы и лихоимство. На дело государственного управления смотрел он, как на священный долг, и нес свои обязанности чрезвычайно добросовестно. Себя он считал слугою государства и искренне писал о себе: «За мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею». И действительно, Петр не жалел себя, когда дела требовали напряжения сил и энергии. Идея государства, как силы, которая в целях общего блага берет на себя руководство всеми видами человеческой деятельности и всецело подчиняет себе личность, эта идея господствовала в эпоху Петра, и Петр ее усвоил. Он отдавал себя служению государству и требовал того же от своих подданных. В его государстве не было ни привилегированых лиц, ни привилегированных групп, и все были уравнены в одинаковом равенстве бесправия пред государством. Поскольку Петр считал себя лицом, постольку он мыслил и себя слугою государства наравне со всеми; а поскольку он являлся монархом, он олицетворял в себе государственную власть и сознавал себя самодерж-

цем, который никому на свете не был обязан отчетом. Не один раз в речах Петра звучало это различение его собственной роли, как человека и монарха, и надобно сказать, что Петр—человек, при всех его слабостях, всегда предстает пред нами с чертами неподкупного и сурово-честного работника на пользу общую. И как носитель неограниченной власти, он сознавал, что ею должен пользоваться осмотрительно, и не раз благодарил тех, кто воздерживал его от увлечений и ошибок. «Знаю я, что я также погрешаю и часто бываю вспыльчив и тороплив (говорил Петр); но я никак за то не стану сердиться, когда находящиеся около меня будут мне напоминать о таковых часах, показывать мне мою торопливость и меня от оной удерживать».

Нередко бывая жертвою своего темперамента, в припадках вспыльчивости, гнева и раздражения, в приступах рано постигших его болезней, Петр понимал хорошо, как в сущности слаба его воля, как мала его власть над собою. Это сознание выразил он в знаменательных словах пред кончиною: «Из меня познайте, какое бедное животное есть человек». Так в конце концов определил сам себя самый могучий человек своей эпохи.

1873.

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

I. ПЕТР ВЕЛИКИЙ В НОВЕЙШЕЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ.
А. Толстой и Б. Пильняк 3

II. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ОЦЕНКИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В XVIII ВЕКЕ И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.
Современники Петра. Век Екатерины II. Карамзин. Славянофилы и западники 10

III. НАУЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ПОЗДНЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.
Соловьев и Кавелин. Ключевский. Взгляд Милюкова и его опровержение. Историки-беллетристы. Военные историки 21

IV. ДЕТСТВО ПЕТРА ВЕЛИКОГО.
Дворцовая обстановка. Обучение. Игры. Первые иноземцы при Петре 41

V. МОЛОДОСТЬ ПЕТРА ВЕЛИКОГО.
Придворная борьба. «Потехи» и Немецкая слобода. Крушение традиций 56

VI. ПЕРВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШАГИ.
Война с турками и заграничное путешествие . . . 70

VII. ВОИНСКИЙ ТАЛАНТ ПЕТРА.
Операция завоевания Ингрии. Гродненская операция 1706 года. 1708 год и Полтава 78

VIII. ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ПОСЛЕДНЕМ ПЕРИОДЕ ЖИЗНИ.
Петр в Западной Европе. Поездка в Париж в 1717 году. Жизнь в Невском «парадизе». Личные свойства Петра, как деятеля 95

385
430

11 550
1540

165550

-1985
1655

330


Ц:70к.
ЕЛЬСТВО «ВРЕМ